

Алиби для дракона



ЕВА ЛАНСКАЯ

Ева Ланская

Алиби для дракона

<https://litres.ru/74689293>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждая вещь помнит последнее, что с ней случилось. Я умею это прочесть. Только за каждую историю плачу одним своим воспоминанием и уже не помню лица мамы».

Ильса Варн поступила в Академию Стражей Предела ради диплома следователя: без него отцу не выйти из долговой тюрьмы. В первый же день она при всех назвала драконьего наследника Тэйрона Эрсхольма «ящерицей с гербом». Он её дар — «гаданием на ложках». А ночью со Сломанной башни упало тело, и все улики указали на Тэйрона.

Теперь они следственная пара. У них тридцать дней. Если убийца не найдётся, Тэйрона ждёт трибунал, а Ильсу — отчисление. Мирный договор трещит, все вокруг лгут, а убийца, похоже, знает о её даре больше, чем она сама.

Осталось понять, сколько ещё она готова забыть ради правды

Содержание

Глава 1. Гадание на ложках	5
Глава 2. Месяц до трибунала	17
Глава 3. Дневник забытого	29
Глава 4. Ил помнит всё	41
Глава 5. Сломанная башня	57
Глава 6. Карты Росса	69
Глава 7. Лицо матери	83
Глава 8. Чужие руки в архиве	94
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Ева Ланская

Алиби для дракона

Алиби для дракона

Ева Ланская

«Каждая вещь помнит последнее, что с ней случилось. Я умею это прочесть. Только за каждую историю плачу одним своим воспоминанием и уже не помню лица мамы».

Ильса Варн поступила в Академию Стражей Предела ради диплома следователя: без него отцу не выйти из долговой тюрьмы. В первый же день она при всех назвала драконьего наследника Тэйрона Эрсхольма «ящерицей с гербом». Он её дар — «гаданием на ложках». А ночью со Сломанной башни упало тело, и все улики указали на Тэйрона.

Теперь они следственная пара. У них тридцать дней. Если убийца не найдётся, Тэйрона ждёт трибунал, а Ильсу — отчисление. Мирный договор трещит, все вокруг лгут, а убийца, похоже, знает о её даре больше, чем она сама.

Осталось понять, сколько ещё она готова забыть ради правды.

Глава 1. Гадание на ложках

Серебряная ложка помнила, как кто-то утром плакал в чай.

Я держала её двумя пальцами, за самый кончик черенка. Так держат дохлую мышь, которую принесла послушная кошка. Или слизня, что почти одно и то же.

— Не торопитесь, — сказал декан видения. — У нас впереди целый день.

«У меня впереди целый день, а в животе с вокзала ни крошки, да и в кармане ни гроша», — подумала я. Но кивнула.

Читала я эту ложку ещё в семь утра, в приёмной, при двух деканах и секретаре. Правило комиссии: видящий платит за историю до выхода на публику, а не на глазах у зала. Историей называют то, что предмет рассказывает о себе. Я заплатила. Чем-то мелким, не знаю чем, и уже никогда не узнаю, в том и подлость. Только язык сам лезет в пустое место, как в дырку от выбитого зуба.

Зал Присяги был огромный и холодный. Серый камень, высокие окна с мутными стёклами, под потолком чугунные люстры на цепях толщиной с мою руку. По стене тянулись гербы выпусков. Над кафедрой висел факультетский знак: глаз в круге. Пахло воском, мокрой шерстью и чьими-то дорогими духами с запахом фиалки.

Курс сидел амфитеатром. Двести с лишним человек. Все смотрели на меня.

Знаете, в каждой академии есть девица, которую зовут только переписать конспект. Так вот, я была девицей, которую зовут посмотреть, чья это вилка. На меня глядели, как на ручную крысу в цирке. С интересом. С брезгливостью. Ну давай, фокусница.

Ладно. Давай.

Я закрыла глаза. Ложка была ледяная, будто её только что вынули из колодца. Потом потеплела. Утреннее чтение всплыло само, как шарик воздуха со дна озера.

Кухня. Узкое окно. Женская рука с кольцом на большом пальце, чайник, кипятик. Слезы, крупные, одна за другой, падают в чашку. Рука помешивает. Звяк. Звяк. Звяк.

Дальше ничего. Ложку положили на блюдце. Всё.

Я открыла глаза. На губах почему-то был металлический вкус. Сглотнула.

— Женщина. Кольцо на большом пальце, значит, вдова или замужем за моряком, у них так носят. Утро, раннее. Кухня. Плакала долго, а чай всё равно размешала. — Я помолчала и добавила: — Не сахарила. Просто мешала.

Кто-то в зале хмыкнул. Декан поджал губы и сверился с бумагой.

— Верно. Служанка ректора. Муж ушёл в рейс на Холодные острова. — Он поднял брови. — Про сахар в протоколе нет.

— Ложка сухая. Если бы клала, остались бы крупинки.

— Допустим.

Допустим. Хорошее слово. Так говорят, когда не хотят признавать, что ты права.

Я вытерла ложку о рукав. Привычка с баржи. Отец возил чужие грузы и, прежде чем сдать тюк хозяину, всегда вытирал руки о штаны. И мне повторял: «Чужое трогай чистыми руками, запомни, Ильска». Теперь я так вытираю чужие вещи после чтения. Чтобы на них не осталось меня.

Тут и раздалось с задних рядов:

— Гадание на ложках.

Негромко. Но зал был каменный, и голос прокатился по нему, как шар по желобу. Низкий, сухой. Даже без насмешки. Просто констатация.

— Ещё чашку с гущей принесите, — продолжил он. — Пусть погадает на женихов.

Теперь хмыкнули многие.

Я нашла его глазами сразу. Задний ряд, у колонны. Развалился на скамье, вытянув ноги в проход, будто в трактире. Высокий, это видно даже сидя. Широкие плечи, чёрный камзол без единой вышивки. Плащ держится на простой железной скрепке, какими прихватывают мешковину. Кожа бронзовая, волосы тёмные, с медью. Шрам через левую бровь, рассекает её надвое.

Красивый? Да. Не мой тип. Слишком много в нём было от хорошо отточенного ножа: смотреть приятно, трогать не

хочется.

Золотые зрачки глядели на меня лениво. С той скукой, что бывает у людей, которых с детства никто не ругал.

Я знала, кто это. Знал каждый, кто видел газетные гравюры: драконий клан Эрсхольмов, двадцать лет мира, подписание договора. Младший сын. Тэйрон. Странно только, что гербового дракона на плаще нет.

— Прошу прощения? — сказал декан.

— Уточняю методологию, — ответил дракон. Не вставая.
— Следствие — наука. Ложка — предмет сервировки. Пусть мне объяснят разницу.

— Магистр, — сказала я, — можно мне ответить?

Декан открыл рот. Закрыл. Махнул рукой: валяйте.

Я сошла с кафедры. Спускалась по ступеням медленно, чтобы не слышно было, как дрожат колени. Ботинки стучали по камню, стоптанные, одна подошва подбита отцовским ремнём. Стук. Стук. Стук.

— Методологию, — повторила я. — Хорошо. Предмет — свидетель, который не умеет врать, но умеет молчать. Вы понимаете разницу между показанием и догадкой?

— Я понимаю разницу между наукой и фокусом, — сказал он. — Ты, судя по всему, нет.

«Ты». Бросил небрежно, как собаке кость.

— Тогда ты одинок в этом зале, — сказала я. — Остальные, думаю, её видят.

Тишина. Кто-то кашлянул.

— Ты здесь недавно, — сказал он ровно. — Заметно.

— Заметно, — согласилась я. — Я вошла через главные ворота. А ты въехал через боковые, чтобы не встречаться с толпой. На сапогах южная глина, у главных мостовая. Папа распорядился?

Его бровь, та, что со шрамом, чуть дёрнулась.

— Не понимаю.

— Всё ты понимаешь. — Я остановилась в проходе, в трёх шагах от него. От него шло тепло, как от печки. И пахло дымом и кедром, неожиданно приятно. Я разозлилась и на это тоже. — Ты младший. Запасной. Тебя прислали сюда, чтобы дома не мешал, пока старший брат учится наследовать. Хорошая должность, ящерица с гербом. Сидишь в заднем ряду, пинаешь чужие дары и ждёшь, пока про тебя вспомнят.

Зал замер.

Не затих. Именно замер. Так замирают мыши, когда в кладовой скрипнула дверь.

Где-то капала вода. Скрипнула чья-то скамья. В ушах у меня стучало.

— Дура, — сказал один голос. — Ты же только что приехала.

— Зато правда, — ответил другой.

Он не вскочил. Не зарычал. Это было хуже. Он медленно подобрал ноги, выпрямился, и у самого виска на скулах проступило что-то тёмное, мелкое, будто россыпь бронзовых зёрнышек. Чешуя. Тут же исчезла.

Смотрел он теперь иначе. Не лениво. Внимательно, как смотрят на карту перед боем.

— Имя, — сказал он.

— Варн. Ильса Варн.

— Варн, — повторил он. Словно пробовал на зуб. — Тэй-рон.

— Знаю. Газеты читаю.

— Господа! Господа, господа! — Голос прозвучал мягко, как тёплое одеяло. — Какая живость! Вот что значит новый учебный год.

По проходу к нам спешил человек среднего роста, мягко полноватый, с аккуратной седой бородкой. Серые замшевые перчатки, поношенный сюртук с заплаткой на локте. Пахло от него лимонными леденцами и воском. Знакомый запах. Такой стоял в лавке в Мерне, где мне в детстве покупали сладкое за хорошие отметки.

— Магистр Фейл, куратор следственного факультета, — представился он и чуть поклонился. — Для тебя, голубушка, просто Фейл. Тут разберёмся.

Он повернулся к залу и развёл руками.

— Коллеги! Юные друзья! Предлагаю считать это первой практической работой. Мы только что наблюдали допрос с пристрастием. Свидетель — видящая, подозреваемый — господин Эрсхольм. Результат — ничья. Кто возражает?

Смех. Нервный, но смех. Напряжение вышло из зала, как воздух из мехов.

Фейл протянул мне руку в перчатке. Я пожала. Сквозь мягкую замшу ладонь была тёплая, как кошачье ухо.

— Хорошо отвечаешь, — шепнул он. — Но на будущее: с драконами лучше не спорить на их территории. Особенно на публике.

— Это не его территория, — буркнула я.

— Голубушка, в этом зале все территории чьи-то. — Он подмигнул. — Леденец хочешь? Для нервных.

Из кармана появилась жестяная коробочка. Я взяла жёлтый кругляш. Сунула в рот. Кислота ударила в щёки, глаза защипало.

— Вот-вот, — сказал он. — Лучшее лекарство.

Эрсхольм встал. Выше меня почти на голову, пришлось задрать подбородок.

— Магистр, — сказал он Фейлу, не отрывая от меня глаз. — Разрешите откланяться.

— Разумеется, юноша. Разумеется.

Он прошёл мимо. Плащ задел мой рукав. Дым и кедр. Я задержала дыхание, как перед нырком.

— Ящерица умеет считать только до трёх, — тихо сказала я ему в спину. — Раз, два — много.

Он не обернулся. Но на секунду замедлил шаг.

Вечером я сидела на койке с ногами и жевала хлеб с сыром, который принесла Веста.

— Ну ты даёшь, — сказала она в пятый раз. — Ты вообще

понимаешь, кому ты сказала?

— Ящерице.

— Эрсхольму! Младшему сыну клана! — Веста всплеснула руками, и десяток шпилек в её рыжих кудрях тревожно звякнул. — Солнышко, да за такое в прошлом веке языки резали.

— В прошлом веке у них и договора не было.

— Не умничай. Съешь ещё.

Она пихнула мне под нос пузатый фаянсовый чайник с отбитым носиком. Бабкин, сказала она, в дорогу дала, «чтобы к чужим не ходила за кипятком». Из носика шёл пар, пахло мятой.

Комната у нас была тесная. У двери два крюка для плащей. У окна стол, заваленный Вестиными пёстрыми лентами и моими бумагами. Над моей койкой полка: три книги, свеча, жестяная кружка. Отцовский шерстяной шарф лежал в ногах. Серый, колючий, с дыркой на конце. Он пах дымом от баржевой печки и немного рекой.

— Он тебя запомнил, — сказала Веста. — Точно запомнил.

— Пусть.

— Он красивый, между прочим.

— Он ходячая стена.

— Стена с кедровым запахом, — хихикнула Веста. — Я у двери стояла, нюхала.

— Вестка!

— Молчу, молчу.

Она сунула мне ещё ломоть. Я почти не чувствовала вкуса. Пальцы всё ещё помнили холодную ложку.

Только когда она заснула, уткнувшись носом в подушку, я достала из-за отошедшей стенной панели тетрадь. Клеёная обложка, бечёвка. Огрызок карандаша за ухом нащупала сразу.

Писала недолго. Строчки четыре. Про дракона, про ложку и про то, что не надо было говорить про брата. Отдельной строкой поставила сегодняшнюю дату. Без слов: утром я заплатила, а чем, не знала.

Хотела написать ещё. Не стала. Спрятала обратно.

Ночное испытание начали в два часа.

Нас подняли звонком, выстроили во дворе, как овец. Первокурсников человек шестьдесят. Мокрый камень под ногами, ветер с моря, с солью и водорослями, лязг цепей где-то у ворот. Я натянула шарф до самого носа. Пальцы всё равно заоченели.

Вели нас старшекурсники с фонарями. Красные огоньки шли по тропе вдоль скалы, как бусины на нитке. Слева обрыв, внизу море било в камни: удар, пауза, удар. Справа стена, и над ней, на фоне чуть светлого неба, чёрный обломок.

Сломанная башня.

Её было видно с любой точки двора, и каждый, кто приезжал, спрашивал: «А что с ней?» Никто не отвечал. Вход

студентам запрещён. Мы стояли в её тени, и от камня несло сыростью, как от погребца.

— Подножие, — сказал старшекурсник с фонарём. — Дальше не ходить. Задача: найти метку и вернуться. Кто потеряется — сам виноват.

— А метка где? — спросил кто-то.

— Сам найдёшь.

Смех. Я не смеялась. Ботинок подвернулся на скользкой плите, я выругалась сквозь зубы: «Ил тебе в сапог». Рядом чей-то голос хмыкнул. Я не разглядела чей.

Потом фонари погасли один за другим. Старшекурсники растворились в темноте. Остался только ветер.

Я шла вдоль кладки, держась ладонью за камень. Холодный, шершавый, в мокрых пятнах мха. Шаг. Ещё шаг. Дыхание облачком.

И тут сверху послышался звук. Не крик. Свист. Тонкий, как у стрелы.

Я успела поднять голову.

Удар.

Что-то тяжёлое грохнулось на камни в десяти шагах от меня. Мокрый, глухой хруст. Я отскочила, наступила на собственный шарф, чуть не упала.

Кто-то завизжал. Потом закричали все сразу. Вспыхнули фонари, их было много, они метались, и в этой качающейся красной мути я увидела тело.

Лицом вверх. Светлые волосы, аккуратный пробор, те-

перь слипшийся. Голубые глаза открыты. На подбородке родинка.

Парень. Старшекурсник. Днём я видела его в галерее: он нёс стопку папок и улыбался кому-то.

Ноги стали чужими. Во рту пересохло. Ладони взмокли.
— Всем стоять! — рявкнул кто-то. — Назад! Назад, я ска-
зал!

Люди шарахнулись. Я не шарахнулась. Я смотрела.
— Профессионал, — сказал строгий голос. — Смотри.
Положение тела. Руки. Одежда.
— Я не хочу, — сказал другой.
— Смотри.

Правая рука вывернута под себя. Левая раскинута. На шее ничего. Сюртук расстёгнут на две пуговицы. Серебряное перо торчало из нагрудного кармана и блестело в свете фонарей.

А потом я увидела его.

Он стоял в трёх шагах от тела. Высокий, чёрный на чёрном. Плащ трепало ветром. Золотые зрачки в темноте светились, как у кошки.

Эрсхольм.

Он смотрел на мёртвого. Лицо у него было такое, будто его ударили под дых, а он не собирался этого показывать.

— Не двигаться, — сказал кто-то сзади. Голос Фейла, но напряжённый. — Господин Эрсхольм. Не двигайтесь.

Он не двигался. Только опустил глаза. Куда-то вниз, в

камни.

Я проследила взгляд.

На мокрой плите, у самой руки мертвеца, лежала бронзовая застёжка. Дракон, обвивший скалу. Я видела его на гербах в зале выпусков и на газетных гравюрах. Родовой знак Эрсхольмов.

А днём на плаще у этого дракона была железная скрепка.

Я подняла глаза. Он поднял свои. Мы смотрели друг на друга через труп, и ни один не произнёс ни слова.

Пахло дымом и кедром. Ветер гнал по камням оборванную ленту тумана. Перо Ленара блестело в свете фонарей — точно как та ложка утром.

Оно тоже что-то помнило. И я, к рыбьей матери, уже знала, что спрошу.

Глава 2. Месяц до трибунала

Дверь ректорского кабинета хлопнула так, что с рамы портрета осыпалась пыль.

— Мы требуем немедленного освобождения! — гремело из приёмной. — Это не просьба!

Голос был низкий, с хрипотцой, как у котла перед кипением. Драконья делегация. Приехали к рассвету, значит, сорвались с места ещё до того, как тело остыло.

Я стояла посреди кабинета и грызла заусенец. Утро только занималось. За окном серело, море лупило в скалу, а у меня в ботинках хлопало. Подошва, подбитая отцовским ремнём, промокла насквозь.

Комната была не для таких, как я. У стены напротив двери висели семь портретов в тёмных рамах, подписанты договора. Люди и драконы, рядом, в одинаковых мантиях, со строгими лицами. Под каждым табличка с гербом. Между вторым и третьим пятно от сырости, похожее на кляксу.

У окна стояли часы с маятником. Точь-в-точь такие тикали на барже у дядьки Карла, пока тот их не пропил вместе с баржой. Сейчас они тикали ровно и деловито, отмеряя чужое время.

По той же стене стол, широкий, как галеон. На нём чернильный прибор, стопка бумаг, а рядом с креслом стояла хоззяйка.

Морвен Альд. Высокая, сухая, седой узел на затылке стянут так, что глаза казались прищуренными. Серебряная цепь ректора лежала на чёрной мантии, как цепь на колодезном воротах. Она опиралась на трость с набалдашником-маяком и смотрела на нас так, как кухарка смотрит на крысу в мешке с мукой. Не злобно. Просто прикидывает убытки.

Нас было пятеро. Ректор, Фейл у камина, два стражника у двери. И он.

Тэйрон Эрсхольм стоял в трёх шагах от меня. Руки за спиной, не связанные, а сцепленные самими. Плащ сидел криво. Железная скрепка для мешковины так и торчала на нём. Я скосила глаза. Да. Та самая.

Он смотрел в стену поверх голов. От него шёл жар, как от остывающей печи, и пахло дымом и кедром.

— Госпожа Варн, — сказала ректор. — Вы видели тело первой.

— Одной из первых, — ответила я. — Лицом вверх, правая рука под себя, левая в сторону. На шее следов нет. Сюртук расстёгнут на две пуговицы, перо в нагрудном кармане. Перо я хочу прочесть, пока не затёрли.

— Кто вам дал право хотеть?

— Дар. И протокол изъятия. Цепочка хранения. Если перо ходило по рукам, читать нечего: каждый, кто его трогал, затёр последнее.

Тишина. Часы. Тик. Тик.

— Остра, — сказала ректор Фейлу, не оборачиваясь.

— Остра, — подтвердил он мягко. — Я её днём видел, Морвен. Уже тогда было понятно.

Его голос отозвался во мне, как ложка тёплого супа. Я не хотела это признавать, но стало легче.

— Перо в сейфе следственного факультета, — продолжила ректор. — Опечатано лично магистром Фейлом. Читать будете здесь. Сегодня. А теперь слушайте внимательно, обоим касается. Господин Эрсхольм остаётся на территории академии под домашним арестом. Следствие ведёт пара: видящая и подозреваемый. Куратор — магистр Фейл. Срок — тридцать дней.

Она сказала это, как стукнула молотком.

— Не найдёте убийцу, господина Эрсхольма передают трибуналу Предела. Вас, госпожа Варн, отчисляют как неспособную.

— Пара? — переспросила я. — Подозреваемый и следователь? Это же...

— Это единственное решение, которое устроит драконью делегацию и не разозлит людей. Ему покажут, что мы его не прячем. Людям покажут, что мы его не отпускаем. Вы нужны обоим лагерям одновременно. Радуйтесь.

— Я прыгаю от счастья, — сказал Тэйрон.

Первый звук, который он издал за всё время. Сухой, как скрип петель старой амбарной двери.

— А если мы справимся раньше? — спросила я.

— Тогда вас похвалят. Если справитесь вообще.

Ставки она выложила на стол, как счёт в трактире. Трибунал. Отчисление. Мысль об отчислении прошла по мне, как ледяная вода по рукаву. Потеряю стипендию, потеряю диплом, и отец так и сгниёт в Мерне на тюремной койке со вшами. Ни денег, ни надежды, да и сама я завтра же окажусь в портовом кабаке с тряпкой в руках.

Я сжала левую ладонь. Белый рубец от лодочного троса зазудел.

— Господин Эрсхольм, — сказала ректор. — Где вы были в два часа ночи?

Он помолчал.

— У башни.

— Вы знаете, что это запрещено.

— Знаю.

— И что вы там делали?

— Стоял.

— Господин Эрсхольм.

— Это всё, что я могу сказать.

— Не «могу», — сказала ректор. — «Хочу». «Могу» прощают.

Он перевёл на неё золотые глаза. Ни один мускул не дрогнул, только шрам, рассекающий левую бровь надвое, стал в красном утреннем свете бордовой ниткой, которой опоясывают подарки на День новой эры.

На барже эту нитку берегли весь год. Праздник у нас в Пределе молодой, почти мне ровесник: в первый день зи-

мы люди и драконы подписали договор, и с тех пор в этот день все дарят друг другу какую-нибудь мелочь, перевязанную бордовым. Кровь между нами теперь только на подарках, так говорят. Мама покупала на мернском рынке один моток на всю семью и вечером, когда отец засыпал, вязала узлы при лампе. На каждый шептала: чтоб не рвалось. Отцу доставался кисет, мне сушёная груша или рыбка, вырезанная из коры. Я подглядывала из-под одеяла и делала вид, что сплю.

Мама не стало, когда мне было девять. Моток кончился через две зимы. Отец перевязал мою грушу простой бечёвкой, долго смотрел на узел и сказал, что так даже крепче. Больше мы этот праздник не справляли. Отец говорил, что на барже некогда.

— Я не стану отвечать. Ни вам, ни трибуналу.

— Тогда вы сами выбрали, на чьей вы стороне.

— На своей. Ящерицы умеют считать, ректор. Я посчитал.

«Ящерица умеет считать только до трёх», — вспомнила я свои слова в Зале, и стало смешно. Нехорошо смешно, как перед тем, как стошнит.

Фейл кашлянул.

— Морвен, позволь, я возьму их под крыло. Дети перепуганы, один молчит, другая хамит. Это нормально. Это возраст.

— Я не хамлю, — сказала я.

— Хамишь, голубушка, — сказал он ласково и снова каш-

лянул. — Но по делу. Я это люблю.

Он подошёл к столу, взял перо ректора, обмакнул и поставил внизу листа размашистую подпись, закорючку, как у нотариуса. Протянул бумагу мне.

— Расписывайся. Вот тут, где галочка.

Я прочла каждую строчку, до последней запятой. Всё как всегда: двое названы парой, он под подозрением, я на испытании, срок тридцать суток, а в конце про трибунал и отчисление. Я поставила подпись. Клякса с запястья мазнула по бумаге, пришлось слюнявить и тереть пальцем. Палец в мгновение стал иссиня-чёрным.

— Эрсхольм.

Он расписался. Размашисто, не глядя.

— Вот и славно, — сказал Фейл. — Теперь вы связаны. Не бойтесь, это не навсегда.

Улыбнулся мне. Морщинки-лучики разбежались вокруг глаз, как трещинки на тёплой булке. Потом залез в карман и достал пару перчаток из тонкой серой кожи. Старые, чистые, пахнущие воском и лавандой.

— Держи. Покойной жены. Она была видящей. Старалась лишний раз не трогать чужое голыми руками. Подумал: тебе пригодятся.

— Я привыкла без, — сказала я.

— Привыкла, — согласился он. — А я бы не хотел, чтобы такая умница стёрла руки до костей. Ты же не железная.

Взяла. Они были мягкие, как заячьи уши. Я сунула их в

карман сюртука и не нашла, что сказать. Горло стало тесным.

— Спасибо, — выдавила я.

— Не за что. Ил помнит всё, — сказал он тихо. — Но не обязан помнить, как ты мёрзла.

За спиной хмыкнул Тэйрон. Я не обернулась.

Перо принесли через двадцать минут. Стражник нёс его на подносе, под тряпицей. Серебряное, тонкое, с чернильным пятном на кончике. Ректор показала на кресло. Я села. Фейл вынул из ящика лист, вписал время изъятия и передал мне:

— Распишешься, что цепочка цела.

— Цела, — сказала я. — Пока я не трогала.

Потом размотала с шеи отцовский шарф. Серый, колючий, с дыркой на конце. Пах дымом баржевой печки и рекой. Положила на колено. Привычка. Когда читаешь чужое, держи своё рядом.

— Господин Эрсхольм, — сказала ректор. — Вам лучше отвернуться.

— Мне лучше смотреть, — ответил он. — Хочу знать, что она там увидит.

— Смотри, — сказала я. — Только если смотришь на то, чего не понимаешь, это и называется «гадание на ложках». Ты сам придумал. Помнишь?

— Помню. Давай. Погадай.

Я вытерла ладонь о рукав. Чужое трогай чистыми руками,

Ильска. Так говорил отец. Сидел у печки, чинил сеть, а я, мелкая, тянула к нему руки с какой-нибудь грязной находкой. Он говорил: «Чужое трогай чистыми руками». И тут же начинал напевать, чтобы не слушать, как я канючу. Тихо-тихо:

Течёт река, не спит река,

Не спи и ты, моя...

Я мотнула головой. Рано. Слишком рано.

Взяла перо.

Холодное, как рыба чешуя. Я сомкнула пальцы. История, то, что предмет рассказывает о себе, вошла в меня не сразу. Сначала шорох. Потом темнота, плотная, как мокрая шерсть. Потом шаги по камню, вниз, по винтовой лестнице. Эхо глухое, подвальное.

Я стояла в чьём-то теле. Тело было лёгким, нервным. Рука шарилась по груди. Дыхание сбивалось, пахло сыростью и чем-то ещё. Кислым? Я не успела понять.

Он достал перо. Хотел записать. Кончик ткнулся в бумагу, которой в темноте было не видно.

И свет погас. Не фонарь, а будто кто-то закрыл его ладонью. На стене дрогнула тень: плечо, и пальцы с когтями, длинными, загнутыми. Шорох. Низкий рык, совсем рядом.

Перо выскользнуло. Звякнуло о камень.

Тишина.

Я открыла глаза. Перо лежало на ладони. Пальцы онемели. На губах был металлический вкус. Сглотнула.

— Ну? — резко спросила ректор.

— Темно, — сказала я. — Лестница, вниз. Он хотел писать. Свет погас, на стене тень с когтями. Рык. Перо упало. Лица не видно.

— Дракон, — сказал стражник у двери.

— Тихо, — оборвал Фейл.

Я подняла глаза. Тэйрон стоял бледный, ни капли румянца под бронзой. Золотые зрачки сузились в тонкие вертикальные нитки. Он не шевелился. Только на скулах, у самых висков, под кожей что-то блеснуло. Чешуя, но не вышедшая наружу.

— Это не я, — сказал он ровно.

— Я не говорила, что ты.

— Нет. Но подумала.

— Я подумала, что тень на стене — это ещё не имя, — сказала я. — И что коготь — это ещё не ты. Пока что это только коготь.

— Варн.

— Что?

— Не лезь в мои мысли, — сказал он сухо. — Ты в них не найдёшь ничего, кроме скуки.

Я хмыкнула. Он отвернулся к стене.

Мы вышли из кабинета вчетвером: я, Фейл, Тэйрон и стражник. Коридор был холодный, каменный, пахло воском и копотью. У окна стояла делегация в тёмных плащах, чет-

веро, широкоплечие, как буфеты. Они не обернулись. Один рыкнул что-то в сторону Тэйрона. Тот ответил коротко, на языке, которого я не знала. Рык стих.

— Что ты им сказал? — спросила я.

— Что со мной всё в порядке.

— А это правда?

— Нет.

Он первый пошёл по коридору, прямой, как линейка. Стражник поспешил следом.

Фейл положил мне на плечо ладонь, тёплую даже через серую замшу.

— Дай ему время, голубушка. Мальчики с гербом не умеют просить.

— А я должна уметь?

— Нет. Ты должна уметь выжить. Иди поспи хоть часок. И поешь. Под глазами мешки, как у старой камбалы на прилавке.

Он достал из кармана жестяную коробочку, высыпал на ладонь два леденца и сунул мне в руку:

— Для нервных студентов. Я не жадный.

Развернулся и ушёл по коридору, чуть шаркая, как всякий пожилой человек, у которого болят колени. Я осталась с леденцами. Они пахли лимоном и воском.

Сунула один в рот. Кислота ударила по языку, глаза заслезились. Я прислонилась лбом к стене, камень был ледяной, и стало чуть яснее.

— Значит, коготь, — сказал строгий голос. — Значит, дракон.

— Значит, коготь. И всё.

— Или Тэйрон.

— Дура, ты же видела его лицо над трупом.

— Видела. И что? Подозреваемые тоже умеют делать лица.

Ладно. Спорить с самой собой, когда ног не чувствуешь, делодохлое, как торговать рыбой в пост. Я выпрямилась, подтянула шарф к носу. Пальцы всё ещё пахли серебром.

И тут я заметила: что-то не так.

Не в перчатках, не в леденцах. Не в шраме Тэйрона и не в когтях. Где-то внутри. Будто из комнаты вынули одну вещь, а я не заметила какую, пока не споткнулась о пустое место.

Вчера перед сном я напевала. Тихо, в подушку, как всегда, когда на душе паршиво. Две строчки. Знала, откуда они. Чьи.

Я открыла рот. Начала:

— Течёт река...

Дальше пусто.

— Течёт... река...

Горло знало, что должно быть дальше. Язык знал. А память нет. Мелодия выскальзывала, как мокрый обмылок из рук. Отец сидел у печки с сетью на коленях, пахло дымом и мокрой шерстью, он поднимал глаза, видел меня, и губы у него шевелились. Я видела это ясно, до последней морщины. А звука не было. Ни слов, ни мотива. Будто кто-то аккуратно

вырезал песню из середины, а края оставил.

Попробовала без слов, просто на «а». Вышло что-то чужое. Фальшивое, как у чужого ребёнка.

— Илья? — спросила я себя вслух.

Никто не ответил. Внизу море с грохотом лезло на скалу и сползало обратно.

Колыбельная отца ушла. Взамен я получила тень с когтями и тридцать дней. Не слишком выгодный обмен, но и не грабёж. Я знала цену, когда соглашалась.

Цена была честной. Почти.

Глава 3. Дневник забытого

Дверь в комнату скрипнула так, будто у неё тоже выдалась бессонная ночь.

Я вошла на цыпочках. Зря: Веста спала, как сурок в январе. Лежала поперёк кровати, одетая, в синем жакете, один ботинок на ноге, второй на полу. Рыжие кудри разметались по подушке вместе с десятком шпилек. Шпильки торчали во все стороны, как иглы у ежа.

Я постояла над ней. От Весты пахло горячим бельём и щёлоком. Подол был в белёсой пыли, мокрый по кромке.

— Вернулась под утро, — сказал строгий голос. — Покрывало не примято, а она в нём спит.

— Значит, вернулась поздно.

— Значит, ночью её тут не было.

— Мало ли где она была. Девушке двадцать два. Может, у неё кавалер.

— С щёлоком?

Я не ответила. Ни себе, ни ей. Подняла Вестин ботинок, поставила к стене, накрыла подругу одеялом. Она пробормотала что-то про пять фунтов масла и перевернулась на другой бок.

Вот и всё. Я никому ничего не сказала. Даже себе, до конца.

Знаете, что хуже всего в нашем ремесле? Привычка заме-

чать. Её не выключишь, как лампу.

Комната у нас была маленькая, как ящик комода. Я обошла её глазами, пока стаскивала мокрые ботинки.

У двери — вешалка с тремя крючками. На двух Вестины жакеты, на третьем мой сюртук с нашивкой-глазом. Рукав ещё не успел просохнуть и пах морем.

У левой стены — Вестина кровать, а над ней — полка с книгами по дипломатическому этикету. Между книгами торчали вязаные носки и банка с вареньем, на которой её рукой было написано: «НЕ ТРОГАТЬ, ЭТО МАМИНО». Мамино варенье из райских яблок. Веста отдавала его только больным и влюблённым.

У правой стены — моя кровать. Тюфяк, одеяло в заплатках, в изголовье подвешена отцовская лампа. Латунная, пузатая, с вмятиной на боку, с баржи «Щука». Баржу забрали за долги, а лампу отец сунул мне в мешок, уже когда нас выставляли с причала. «Чтоб дорога была светлая, Ильска». Дорога вышла тёмная, но лампа светила исправно. Керосином от неё пахло так, как пахнет дом, которого больше нет.

Над лампой висела вышивка. Мелкие рыбки по краю, в середине кривой кораблик. Я смотрела на неё и не помнила, откуда она у меня. В дневнике было написано: «Мамина. Вышила, когда я болела корью». Строчка в дневнике. Корь тоже строчка.

Рыбку-шпильку я сняла с косы и положила на тумбочку.

Медная, тёплая от головы. Мамина. Это я тоже знала только по записи.

Окно выходило на море. Стекло дребезжало в раме, на подоконнике белела полоска соли. Я легла поверх одеяла, не раздеваясь, и закрыла глаза.

Разбудил меня запах. Горячая колбаса, свежий хлеб и что-то сладкое с корицей.

Я открыла глаза. За окном стемнело. На тумбочке стояла лампа, Веста уже зажгла её, жёлтое пятно дрожало на потолке.

— Просыпайся, солнышко, — сказала Веста. — Либо ты встаёшь и ешь, либо я съем всё сама, и совесть меня не загрызёт.

Она сидела на краю моей кровати, юбка колоколом, волосы заколоты заново. На коленях у неё был поднос. На подносе чайник с отбитым носиком, бабкин, пузатый, как купчиха. Кружки, четыре толстых ломтя ржаного, копчёная колбаса, масло в бумаге и три булочки с корицей.

Я села. Живот ответил за меня, громко, как дверной колокольчик.

— Вот, — удовлетворённо сказала Веста. — Говорила же.

— Откуда колбаса?

— С кухни. Повариха Груня меня любит.

— Груня тебя любит за что?

— За красивые глаза. Ешь.

Я взяла булочку. Она была тёплая, корица пощипывала нос. Откусила. Масло потекло по пальцам. Я так давно не ела по-человечески, что чуть не заплакала над обычной булкой. Дорого стоит в Мерне такая: на неё у отца уходила дневная выручка. Теперь у отца не было выручки, да и самого отца, считай, не было.

— Ты вообще слышала? — спросила Веста. — Весь курс гудит. Говорят, тебя поставили в пару с этим. С ящерицей.

— Не говори так.

— А как? Ой, прости, с драконом. С его чешуйчатым высочеством. Вы теперь, что ли, жених и невеста?

— Мы теперь следователь и подозреваемый.

— Ага, — протянула Веста. — Самое романтичное, что бывает. Он высокий?

— Высокий.

— Красивый?

— Не мой тип.

— Как будто у тебя есть тип. — Она хихикнула и подвинула мне чайник. — Пей. Я заварила с мятой и бабкиной ромашкой, от нервов.

Налила. Пар поднялся, пахнуло лугом и немножко влажным чуланом. Я обхватила кружку обеими руками. Пальцы ломило, как всегда после чтения.

— Тебя вызвали на рассвете, да? — Веста понизила голос. — Прямо к самой Альд? А там что?

— Дали тридцать дней.

— На что?

— Найти того, кто его убил.

— Кого?

— Ленара. Ленара Дейса.

Веста застыла с булочкой у рта. Совсем на миг, как мышь, пойманная на кухне с куском сыра. Потом откусила, прожевала и сказала с набитым ртом:

— А. Ну да. Бедняга.

— Ты его знала?

— Да все его знали! — Она отмахнулась, хлебнула чая. — Красавчик, такой гладенький. Пробор как по линейке. Фейл в нём души не чаял, он у него был самый любимый. Магистр его даже на каникулы к себе звал. Я слышала.

— Фейл?

— Ага. А Ленар-то ходил в архив, в закрытый. Месяц, наверное. Девчонки с вашего факультета говорили, что он там сидел вечерами, носом в бумаги. Что-то искал. Подружки спорят что: то ли завещание богатой тётки, то ли чью-то тайну, чтобы шантажировать.

— Шантажировать, — повторила я.

— Ну, он был такой. — Веста выразительно повертела пальцами. — Скользкий. Но обаятельный!

— Ты откуда всё это знаешь?

— Ильсушка, я на дипломатии. Мы только и делаем, что сплетничаем. Нас этому учат.

Она засмеялась громко, раскатисто, на всю комнату, и

ямочка на левой щеке глубоко провалилась. Я улыбнулась. Не удержалась.

Но заметила ещё кое-что.

На краю подноса, под салфеткой, лежал кошелёк. Новый, зелёный, из хорошей кожи. Туго набитый. Не тот потёртый, из которого Веста в начале месяца вытряхивала мелочь на кислый хлеб. Рядом с ним на тумбочке лежали две вишнёвые ленты и коробочка с мылом. Мыло пахло розой.

— Это откуда? — спросила я как можно небрежнее.

— Что?

— Кошелёк.

— А. — Веста метнула взгляд на подушку. — Родня прислала.

— Какая родня? У тебя пять братьев и сестёр, у отца лавка в долгах.

— Тётка Мирра. Из Корвы. Ну, у которой швейная мастерская.

— Не знала про тётку.

— Я тоже не знала, пока не прислала. — Она сунула кошелёк под подушку и преувеличенно бодро добавила: — Вот так и бывает! Живёшь бедная, а тут бац, тётка. Ешь булочку, остынет.

Я съела булочку. Не почувствовала вкуса, хотя корица была настоящая.

— Тётка Мирра, — сказал строгий голос. — Конечно.

— Не лезь, — сказала я. — Это Веста.

— Ты и про ложку так же говорила.

Про ложку я ничего не говорила. Но голос был прав в главном: от привычки замечать не отдохнёшь.

Письмо принесли ещё утром. Веста взяла его у привратника, пока я спала, и положила на тумбочку, прислонив к лампе.

Конверт был серый, влажный по краям. Печать тюремной канцелярии Мерна, тусклая, как пятак. А внутри пахло тиной.

Это я учуяла сразу, едва вскрыла. Тина, ржавчина и дешёвое мыло. Запах причала после дождя. Запах отцовских рук.

Веста деликатно отвернулась и стала разглядывать вышивку над лампой.

Почерк у отца был крупный, ломаный, будто он писал каждую букву, как узел вязал.

«Здравствуй, Иљска.

Пишу, пока дают чернила. Дают раз в неделю, по пятницам, и то если не шумишь. Я не шумлю.

Живу ничего. Кормят кашей и селёдкой. Селёдка хорошая, не то что на нашей барже. Смеёшься? Смейся. Сосед по камере говорит, ты там теперь важная барыня, в сюртуке. Я сказал, что дочка у меня следователь. Он не поверил. Ничего, скоро поверит.

Долг мой, они пишут, сто восемьдесят крон с процентами. Ты не думай, что я просил. Не просил. Это Карл всё приду-

мал, ты же знаешь, он как вода, где ямка, туда и бежит. А ямка была в карточном столе.

Ты шарф носишь? Там у вас, наверное, дует, море рядом. Не будь душой, замотай горло.

И ешь. Слышишь, ешь. Не как дома, когда ты по три дня на одной воде. Теперь у тебя стипендия, ты её на себя трать, а не мне в передачу. Мне ничего не надо.

Ты же у меня мужик.

Твой отец. Ирвин Варн».

Я дочитала. Сложила листок по сгибам. Руки не дрожали.

Только на последней строчке я остановилась. «Ты же у меня мужик». Так он говорил, когда мне было три, и когда мне было двенадцать, и когда пришли ростовщики. И каждый раз после этого становилось больно.

Сто восемьдесят крон. Моя стипендия за год, если не есть и не дышать. А ещё не есть я умею.

Я прижала письмо к носу. Тина, ржавчина, мыло. Нюхала, пока не запершило в горле.

— Что пишет? — осторожно спросила Веста.

— Жив. Селёдкой кормят.

— Это хорошо.

— Это очень хорошо, — сказала я. — Лучше, чем у нас с тобой, наверное.

Веста фыркнула. Потом повернулась, и лицо у неё было другое. Не весёлое, не сплетничающее. Тёплое, как нагретый солнцем камень.

— Ильзушка. Если что, я рядом.

— Знаю.

— Нет, я серьёзно. Мало ли что. Мало ли что у тебя там случится с этим твоим драконом.

— С ним ничего не случится.

— А с тобой?

Я не ответила. Допила чай. Он остыл, мята во рту казалась горькой.

— Спи, — сказала Веста, забирая поднос. — Я пойду, у меня ещё дела.

— Какие дела ночью?

— Дипломатические, — многозначительно сказала она и ушла. Дверь за ней хлопнула. Я проводила её глазами, потом посмотрела на подушку, под которой лежал новый кошелёк.

Не стала лезть. Просто запомнила.

Дневник я прятала за стенной панелью у кровати. Нужно было надавить на нижний угол, и доска отходила, как дверца в посудном шкафу. За ней пахло пылью и старой извёсткой.

Достала. Книга лежала в руке, как большой ломоть хлеба. Переплёт мне когда-то сделал отец из страниц лоции, которую пустили на растопку. Сверху клеёнка, перетянутая бечёвкой. На обложке, если присмотреться, можно было разобрать кусочек карты: «Мерн, устье, глубины». Вот и вся моя летопись. Если честно, ни мама, ни я не стали бы читать такую.

Я развязала бечёвку. Подвинула лампу. Села на пол у кровати, спиной к одеялу, колени к подбородку, потому что стол был Вестин, а на ледяных досках сидеть всё равно удобнее, чем на чужом.

Первая страница. Вторая. Почерк мой, а слова будто чужие. «Мамины руки пахли ромашкой и мукой. Мама пела на кухне, когда месила тесто». «Дядька Карл подарил мне ложку с рыбой. Я её потеряла». «Первый раз пошла на лодке одна. Страшно». В десятках строк всё одинаково: я записывала то, что у меня отнимали, чтобы не стать совсем пустой.

Половина детства. А если подсчитать, и больше.

Я перелистнула на чистое. Огрызок карандаша лежал, как всегда, за ухом. Послюнила кончик. Он горчил.

Запись первого дня была выше. Я не стала её перечитывать, просто провела большим пальцем по краю страницы. Бумага была шершавая, в неё въелись пятна воды. Ничего. Потом.

Написала:

«Второй день в академии.

Забыла колыбельную, которую пел отец.

Помню: он сидит у печки, чинит сеть. Губы шевелятся. Помню, что это было про реку. Первые слова: „Течёт река...“. Дальше нет. Совсем нет, как будто и не было.

Взамен получила тень с когтями.

Это немного, если подумать. Но колыбельная была отцовская. Он пел её тихо, чтоб никто не слышал. Только я.

Теперь я одна».

Я посмотрела на последнюю строчку. Вычеркнуть? Нет. Правда, пусть стоит.

Потом полистала вверх, до самой первой записи, где перечисляла потери. Сверила: вот дом на причале. Вот жёлтый платок. Вот привычка засыпать под мамин голос. Искала, чего не хватает. Вчерашняя ложка. Утром я читала ложку служанки ректора, маленькую, чайную. Перед чтением я знала всё. А теперь дыра, и я не знаю, где она.

Я пробежала список ещё раз. Ничего. Ни единого пробега, которым можно зацепиться.

— Что-то потеряла, а что — не знаешь, — сказал строгий голос. — Как деньги из дырявого кармана.

— Знаю. Просто пока не нашла.

— А найдёшь?

Я не ответила.

Закрыла дневник. Завязала бечёвку тем же узлом, каким завязывал отец: два оборота, петля, подтянуть. Положила за панель, прижала доску ладонью. Она щёлкнула.

Потом легла. Лампа гудела тихонько, тепло от неё шло по щеке, как от чужой ладони. Я натянула шарф до подбородка. Он колот, как всегда, и пах дымом баржевой печки и рекой. Реку я ещё помнила. Пока.

Закрыла глаза. В черноте медленно поплыли огоньки бакенов, красный, зелёный, красный. Они мигали вдали и показывали, где глубоко, а где можно сесть на мель.

Из-за стены доносился голос Весты. Она с кем-то говорила шёпотом, быстро, на лестнице. Слов я не разобрала. Только слово «подвал». А может быть, мне слышалось.

Я лежала и слушала, как море бьётся о скалу, отходит и возвращается.

Спать хотелось. Но уснула я не сразу.

Почти.

Глава 4. Ил помнит всё

Утро третьего дня началось с колокола. Он бил над крышей общежития так, будто хотел выбить из неё все черепицы.

Я села на кровати. Пальцы ломило, как после стирки в ледяной воде. Левая нога затекла под одеялом. Кровать Весты стояла нетронутой, подушка торчала горбом: кошелёк она забрала с собой.

— Дипломатические дела, — сказал строгий голос. — До рассвета.

— Не сейчас.

Умылась из кувшина. Вода была такая холодная, что застыли зубы. Заплела косу, натянула сюртук с нашивкой-глазом на рукаве. Под него шарф. Огрызок карандаша за ухо. Перчатки Фейла положила в карман: мёртвой женщины перчатки, и мне всё казалось, что носить их надо только по делу.

В коридоре пахло горячим овсом и мокрой шерстью. Студенты шли на завтрак стадом, толкались, зевали. Увидели меня — и стадо вдруг расступилось. Образовался проход, как перед нищим на ярмарке.

Шёпот полз за мной по стене. «Это она». «С драконом». «Говорят, он ей руку чуть не...» Не чуть. Ничего он мне не делал. Но кто же будет слушать.

Я дошла до лестницы. Там меня ждали.

Тэйрон стоял у перил, прислонившись плечом к колонне. Плащ на нём был всё тот же, с железной скрепкой. Под глазами тени, шрам над левой бровью казался блее обычного. От него шёл едва ощутимый жар, будто от углей, которые только что раздули. И запах: дым и что-то сухое, древесное. Кедр, наверное. Я такого никогда не нюхала, у нас на реке пахло ивой и тиной.

Домашний арест, видимо, кончился, а может, ему просто разрешили ходить на занятия под присмотром. Двое стражников в серых плащах торчали в десяти шагах и делали вид, что их тут нет.

— Опаздываешь, — сказал он.

— Колокол отбил полчаса назад.

— Вот именно.

— К рыбьей матери твой счёт времени, — буркнула я и пошла вниз. — Я в первую смену не завтракаю, когда на мне дело.

— Ты вообще завтракаешь?

— Не твоё дело.

— Моё. — Он двинулся следом, шаг в шаг. — Если упадёшь в обморок на месте преступления, мне придётся тебя нести. А у меня спина.

— Какая трогательная забота о спине.

— О своей.

Вокруг уже собирались зрители. Народ у нас на факультете любопытный: стоят у стены с булочками в руках и жуют,

пока не начнётся самое интересное. Я увидела Аурела Данна. Он стоял у окна, чистенький, в сюртуке без единой складки, и смотрел на меня, как на таракана на скатерти.

— Варн, — позвал он вполголоса. — Ты уже определила, чем он тебя околдовал? Или ложки молчат?

Пара смешков. Тэйрон не повернул головы. Только чуть сузились зрачки, и у виска дрогнула жилка.

— Данн, — сказала я громко. — Ты в протоколе об изъятии давно писал, что у тебя на манжете? Соус. Третий день один и тот же. Хронология, знаешь ли, не врёт.

Смешки сменили адресата. Аурел покраснел до ушей и прикрыл манжету ладонью.

— Не лезь в чужую хронологию, — процедил он.

— Не лезь в мою, — ответила я.

Мы с Тэйроном вышли на улицу, под серое небо. Ветер с моря бил в лицо. На плацу гоняли первокурсников-боевиков, звенели деревянные мечи. Пахло мокрым песком и конским навозом.

— Это было лишнее, — сказал Тэйрон.

— Что именно?

— Заступаться.

— Я не заступалась. Я проверила гипотезу про его манжету.

Он хмыкнул. Коротко, будто кашлянул.

— Пошли. Кабинет куратора на втором этаже.

— погоди. Сначала ты мне ответишь.

Он остановился.

— На что?

— Где ты был в два часа ночи.

— Не скажу.

— Тогда я не могу написать протокол допроса. Пустая графа. Ректор увидит пустую графу и решит, что я тебя покрываю.

— А ты?

— Что я?

— Покрываешь?

Он смотрел на меня сверху вниз. Золотые зрочки в сером утре казались чужими, как монеты на дне колодца.

— Я пытаюсь вытащить тебя из петли, дубина, — сказала я. — Хотя мне, поверь, было бы проще спать спокойно, если б это сделал ты.

— Вот. — Он наклонил голову. — Дилетантка.

— Что?

— Честный следователь не говорит «хотела бы, чтобы виновен был он». Честный следователь вообще не хочет. Он берёт то, что лежит.

Я открыла рот. И закрыла.

Горло сдавило. Не от обиды. От того, что он был прав, а я не любила, когда был прав он.

— Ладно, — сказала я. — Тогда по порядку. Цепочка хранения. Застёжка найдена у руки трупа, кем?

— Тобой же.

— Нет. Мной она была замечена. Изъял её страж Брандт, и описал в протоколе. Кто видел изъятие, кроме меня? Ты. Преподаватель Росс?

— Росса там не было.

— Значит, ты и стража. Дальше. Застёжка ушла в следственный сейф в четыре утра. Ключ от сейфа у куратора. Значит, всё, что с ней случилось до четырёх, на ответственности Брандта. После четырёх на ответственности Фейла. Теперь вопрос: когда ты в последний раз её видел на плаще?

Тэйрон молчал. Ветер трепал его плащ, железная скрепка звякнула.

— Не в первый день, — сказал он наконец. — Ты видела.

— Видела. Скрепку. Значит, потерял раньше. Когда?

— Не помню.

— Врёшь.

— Не вру. — Он поморщился. — Я не слежу за застёжкой. Её надевают, как сапоги.

— Тогда подумай. Где ты был в последние три дня до убийства? Хронология. Час за часом.

— Ты хочешь, чтобы я вспомнил всё?

— Ага. Мне, знаешь ли, нельзя, а тебе можно.

Он задумался. Лицо у него стало отстранённым, как у человека, который перебирает в уме колоду карт.

— Фехтовальный зал, — сказал он медленно. — За два дня до. Была тренировка. Я снял плащ, повесил на крюк. Потом спарринг. Потом ушёл без плаща: забыл. Вернулся через

час, плащ висел. Но застёжки... — Он замолчал.

— Что?

— Я решил, что она в кармане. Не искал.

— Ты два дня ходил с плащом без застёжки и не заметил?

— Я не ходил. Я его не надевал. Надел первого числа, в Зале Присяги. Взял со стула, накинул. Там была скрепка.

— Кто положил скрепку?

— Не знаю. Слуга, наверное.

Я смотрела на него, и в голове складывались карточки. Кто-то взял застёжку в зале. Кто-то положил скрепку, чтобы он не заметил пропажи сразу. Кто-то знал, что ему придётся выйти на испытание в этом плаще.

— Ты понимаешь, что это значит? — тихо спросила я.

— Что меня подставили заранее.

— Что тебя планировали подставить. За два дня до. Значит, убийца не импровизировал.

— Или выбрал меня не потому, что я убийца, — сказал он. — А потому что я удобный.

Ветер ударил в лицо. Я прищурилась.

— Это уже ты рассуждаешь, как следователь.

— Я рассуждаю, как человек, которого вешают.

Лекционная аудитория на втором этаже была длинной, с высокими окнами. Стены обшиты тёмным дубом, скамьи подняты амфитеатром. Пахло воском и старой бумагой. На кафедре лежала стопка книг в потёртых переплётах и стояла

стеклянная чернильница с гусиным пером.

Над дверью, по которой мы вошли, было высечено в камне, глубоко, с острыми краями: «ИЛ ПОМНИТ ВСЁ».

Я уже видела надпись при поступлении. Тогда она показалась мне красивой. Теперь, после ночи, где с меня сняли колыбельную, как старую рубаху, девиз смотрелся иначе. Ил-то помнит. Я нет.

Народу набилось под завязку. Весь курс, и ещё второкурсники по углам, и даже кто-то с боевого факультета затесался: узнала по плечам. Все смотрели на дверь. На нас.

Тэйрон прошёл первым. Скамьи зашуршали. Кто-то отодвинулся. Кто-то нарочито уставился в тетрадь.

Я села на свободное место у прохода. Он сел рядом. Никто не возразил. Но на нашу скамью никто больше не сел, и вокруг образовалась пустота, как вокруг больного в лазарете.

— Хорошо, — сказал он едва слышно. — Не будут мешать.

— Радуетесь?

— Практично.

Дверь у кафедры открылась. Вошёл Фейл.

Он шаркал, как всегда, чуть припадая на левую ногу. Седые волосы были зачёсаны назад, борода подстрижена. Сюртук с заплаткой на локте, серые перчатки на руках. Встал за кафедрой, положил ладони на край. Обвёл нас взглядом, и вокруг глаз собрались морщинки-лучики.

— Коллеги, — сказал он. — Доброе утро. Ну что вы все

такие мрачные? У нас не панихида.

Кто-то засмеялся. Напряжение чуть сползло.

— Вот и славно. Я, юные друзья, сегодня скажу вам вещь, которую вы все знаете, но, как водится, слушали вполуха. — Он вынул из кармана жестяную коробочку, открыл, кинул себе в рот леденец. По аудитории поплыл кислый лимонный дух. — Угощайтесь.

Коробочка пошла по рядам. Мне тоже передали. Я взяла один, положила на язык. Кислота ударила по щекам, свело скулы. Тэйрон взял, повертел в пальцах и отдал дальше, не попробовав.

— Итак, — продолжил Фейл. — Что такое видение? Кто скажет?

Рука Аурела взметнулась первой.

— Способность считывать след памяти с предмета.

— Верно, юноша, верно. Скучно, но верно. А что именно считывает видящий? Всё, что предмет видел?

— Нет. — Аурел чуть замешкался. — Только...

— Только последнее, — подсказал Фейл ласково. — Последнее воспоминание. Историей мы называем то, что предмет рассказывает о себе. Видящий читает именно её, и только самую свежую страницу. Что было до этого, глубже, затёрто. Ил, юные друзья, ложится слоями. Верхний слой всегда последний. Копнёшь глубже — не потому, что дар позволяет, а потому, что кто-то сам стёр верхнее.

Он замолчал. Постучал пальцем в перчатке по кафедре.

— Вот отсюда следует главное правило следователя. Если у вас на руках предмет, он рассказывает вам не «всё, что было», а «то, что было в последний раз». А если вам рассказывают иначе, значит, кто-то поработал руками.

Я слушала. Что-то царапнуло внутри, но я не поймала что.

— Кто знает, — спросил Фейл, — почему над моей дверью написано то, что написано?

— Потому что ил помнит всё, — отозвался кто-то с задней скамьи.

— Нет, голубчик. Потому что мы, следователи, обязаны помнить за него. Предмет хранит. Мы не имеем права потерять. Каждая улика в цепочке хранения — это жизнь человека. Чья-то. Иногда невиновного.

Он скользнул глазами по аудитории и остановился на нас. Не на мне. На Тэйроне.

— Иногда, — повторил он мягче, — и такого, которого очень хочется осудить заранее.

В зале стало тихо. Аурел обернулся.

— Магистр, — сказал он. — Но ведь застёжка...

— Застёжка, юноша Данн, лежит в сейфе, и пока я не позволю, никто не будет делать выводы. Господин Эрскольм находится под следствием, а не под приговором. Кто из вас не согласен, может зайти ко мне в кабинет и повторить это мне в лицо.

Тишина. Аурел побледнел и сел.

— Благодарю, — сказал Фейл. — А теперь о вещах при-

ятных. Сегодня у нас практика по описи вещественных доказательств. Берём тетради.

Зашуршали листы. Фейл прошёл вдоль кафедры, остановился рядом со мной.

— Голубушка, — сказал он вполголоса. — Ты выпалась?

— Да, магистр.

— Пальцы ломит?

— Немного.

— Вот. — Он вынул из кармана маленькую склянку с мутной мазью, поставил передо мной. — Втирай на ночь. Мне жена так делала. И поешь нормально, мне Веста сказала, что ты вчера весь день проспала.

Он хлопнул меня по плечу, коротко, по-отечески, и пошёл дальше.

Склянка пахла воском и мятой. Я сжала её в кулаке, и стало тепло.

— Любимица, — процедил кто-то сзади.

— Заткнись, — тихо сказал Тэйрон, не оборачиваясь.

Тишина. Голос больше не подавал.

Я посмотрела на него. Он глядел прямо перед собой. Но уголок рта дёрнулся. Не улыбка. Что-то сухое, как у сторожевой собаки, которой дали кость.

После лекции Фейл задержал нас у кафедры.

— Господин Эрсхольм, — сказал он. — Я вас, юноша, не защищал. Я просто соблюдал процедуру. Прошу не путать.

— Не путаю.

— Вот и хорошо. Не спеши, голубушка, — это уже мне, — правда не сбежит. Но есть одна вещь. Брандт говорил, что застёжку вы потеряли. Когда, господин Эрсхольм?

— За два дня до, — ответил Тэйрон. — В фехтовальном зале.

— Это записано?

— Нет.

— Тогда нужно проверить журнал зала. Там отмечают, кто пришёл, кто ушёл, что сдавал в хранение. Идите, посмотрите. Только аккуратно, юные друзья, там сидит наш сержант Орт, он ужасно любит свой журнал и не любит, когда его трогают. Ему нужно скормить леденец.

Он снова протянул коробочку. Я взяла. Тэйрон снова отказался.

— Вам вредно? — спросил Фейл.

— Не люблю кислое.

— Жаль. Я вот только им и живу.

Мы вышли. Коридор был пуст.

— Он за тебя заступился, — сказала я.

— Я заметил.

— И ты ему не веришь.

— Я никому не верю, видящая. Привычка.

— Привычка с детства?

Тэйрон бросил на меня короткий взгляд.

— С двенадцати лет. Когда понял, что если я упаду, меня

подберёт не отец, а ближайший нянька.

— Грустно.

— Не грусти. У тебя своя привычка.

— Какая?

— Вытирать всё о рукав.

Я опустила глаза. Правда. Я только что дотронулась до склянки Фейла, хотела протереть и не заметила, как потянулась к рукаву.

— Это от отца, — буркнула я. — «Чужое трогай чистыми руками, Ильска».

— Разумно, — сказал он. — Он, видно, был неглупый человек.

— Он в долговой тюрьме.

Мы шли дальше молча.

Фехтовальный зал стоял во внутреннем дворе, длинный, как амбар, с высокими окнами под самой крышей. Пахло потом, деревом и маслом для клинков. На стенах висели деревянные мечи, учебные щиты и маски с сетчатыми забралами. Пол был затёрт сотнями подошв до матового блеска.

У входа, за столиком, сидел сержант Орт. Огромный, лысый, с руками как у кузнеца. Перед ним лежал журнал в чёрном переплёте, толстый, с бечёвкой вместо закладки.

— Чего? — спросил он вместо приветствия.

— Нам нужен журнал за последнюю неделю, — сказала я.

— Следствие.

— Следствие, — повторил он, лениво. — А у меня приказ: чужим не давать.

— Приказ чей?

— Мой.

Я достала леденец.

— Кислый, — сказала я. — От магистра Фейла. С поклоном.

Орт посмотрел на леденец, на меня, на Тэйрона. Усмехнулся одним краем рта.

— С поклоном, значит. — Он взял, закинул в рот, скривился. — Бери. Только не лапай мокрыми. И не вырывай страниц.

— Не будем.

Он подвинул журнал. Я села на табурет, открыла.

Страницы были разлинованы грубо, в клетку. Число, имя, время прихода, время ухода, «сдал в хранение», «получил из хранения». Почерк у Орта был крупный, размашистый, как у человека, который держит перо кулаком.

Я пошла по строчкам пальцем. Тэйрон встал за плечом. От него шёл жар, и мне на затылок падало тёплое дыхание.

— Два дня до убийства, — сказала я. — Двадцать восьмое. Вот ты. «Эрсхольм Т., пришёл 15:10, ушёл 17:40». В хранение ничего не сдавал, ничего не получал.

— Потому что плащ висел на крюке у стены.

— Ага. Значит, записи на плащ нет. — Я перевернула страницу. — Двадцать девятое. Пусто. Тренировок не было?

— Было.

— Тогда где?

Я вернулась. Двадцать восьмое. Двадцать девятое. Между ними был узкий белый зубчик бумаги у корешка. Тонкий, как ноготь. Я провела по нему подушечкой пальца. Острый край, неровный.

Вырвали.

— Сержант, — сказала я ровным голосом. — А журнал вы вчера открывали?

— Каждый день открываю.

— И страница за двадцать восьмое на месте была?

— Была.

— А за двадцать девятое?

Орт нахмурился. Встал, перегнулся через стол. Посмотрел на разворот. Лицо у него медленно налилось тёмной краской.

— Какой... — он выругался вполголоса, смачно, так, что у меня на затылке зашевелились волосы. — Я что, слепой? Я же вчера сюда писал. Своей рукой.

— Что писали?

— Что приходили с Тэйроном... с господином Эрсхольмом. Помощник декана. Он здесь спрашивал про застёжку, когда её нашли. Я хотел сказать... — Он осёкся.

— Что хотели сказать?

— Что видел её. Застёжку. На крюке. На двадцать девятое, вечером. Когда плащ висел.

Тэйрон рядом не пошевелился. Но я почувствовала, как жар от него вдруг стал сильнее, как у печи, у которой открыли заслонку.

— Значит, застёжка была на плаще ещё двадцать девятого, — сказала я.

— На крюке, — уточнил Орт. — А потом...

— Потом страницу вырвали.

Мы все трое посмотрели на белый зубчик.

— Кто здесь мог быть вчера? — спросила я.

— Да все. — Орт развёл руками. — Зал открыт. Журнал на виду. Мы ж не воры.

Ветер ударил в окно под крышей. Стеклянная створка дрогнула и звякнула.

Я достала карандаш из-за уха и записала на полях своей тетради: «Журнал фехтзала. Страница за 29-е вырвана. Время — не позднее вчерашнего вечера. Свидетель — Орт».

Тэйрон прочёл через плечо.

— Вырвал тот, — сказал он тихо, — кто знал, что мы придем.

— Или кто знал, что мы будем искать.

— Это одно и то же.

— Нет, — ответила я. — Это разные люди.

Он промолчал. А я стояла, смотрела на рваный край и всё думала: страницу забрали после того, как нас назначили парой. Не до. Значит, о нашем расследовании кто-то знал с самого начала. С самого первого утра.

А знали немногие.

Я захлопнула журнал. Руки были липкими, во рту всё ещё держался вкус кислого лимона.

На обложке остался мой отпечаток: влажный, с кляксой чернил.

Я вытерла его о рукав. И только потом поняла, что вытерла, наверное, зря.

Глава 5. Сломанная башня

Ночью Сломанная башня гудела, как пустая бутылка, в которую дует кто-то огромный и невоспитанный.

Я стояла у подножия и задирала голову. Камень почернел от сырости. Наверху зубцы обломаны, будто кто-то откусил их и сплюнул в море.

— Передумала? — спросил Тэйрон.

— Я? К рыбьей матери, нет. Это ты стоишь и ступеньки считаешь.

— Стражников считаю.

— И сколько?

— Двое у ворот. Один на плацу. Смотрят все в другую сторону.

Решили мы это днём, ещё на крыльце фехтовального зала. Я стояла с липкими от леденца пальцами, а он смотрел на рваный зубчик страницы так, словно собирался прожечь в нём дыру.

— Журнал мы уже потеряли, — сказала я тогда. — Башню тоже закроют, как только кто-нибудь догадается, что мы туда полезем.

— Кто-то уже догадался.

— Вот поэтому лезть надо сегодня.

— Опечатано.

— Воск.

Он посмотрел на меня долго. Шрам над левой бровью чуть дрогнул.

— Ночью, — сказал он. — После отбоя. Я займусь конвоем.

Занялся. Двух своих стражников он оставил в караулке над кружками с чаем, куда подлил сонной травы из запасов поварихи Груни. Сказал об этом одним словом, без всякого раскаяния: «Выживут». Я решила не спрашивать, откуда он знает, сколько класть. Дракон, что с него взять. Наверное, у них и на это есть семейный рецепт.

Ветер лез под сюртук. Отцовский шарф я намотала до самого носа. Он пах дымом баржевой печки и рекой, и от этого запаха стало чуть теплее. Хотя что-то в этой академии мне выдали бесплатно, и то это был не шарф, а привычка.

Дверь в башню оказалась опечатана красным воском. Тэйрон надавил плечом, и печать хрустнула, как сухарь.

— Это же улика, — прошипела я.

— Это воск.

— Это протокол вскрытия.

— Протокол потерпит.

Внутри пахло мокрым камнем и птичьим помётом. Темнота стояла плотная, как кисель. Я вытянула руку и не увидела собственных пальцев.

— Держись за стену.

— Сама знаю.

Шагнула. Нога ушла в пустоту. Я дёрнулась назад, и чья-

то горячая рука поймала меня за локоть. Крепко, до боли. Отпустила сразу, как только я нашла опору.

— Ступеньки нет, — сказал Тэйрон. Голос раздался совсем рядом. — Провал. Обходи справа.

— Ты видишь?

— Вижу.

Я обернулась. В темноте на меня смотрели два золотых пятна. Зрачки у него сузились в нитки, как у кота на подоконнике, когда тот нацелился на воробья. Ничего человеческого. Я почему-то разозлилась.

— Не свети на меня. Неудобно.

— Я не свечу. Я смотрю.

— Вот и смотри под ноги.

Мы пошли вверх. Лестница шла винтом вдоль стены, и половины ступеней не хватало. Те, что остались, были скользкими. Вода сочилась из щелей и стекала по камню тонкими струйками. Моя подошва, подбитая отцовским ремнём, скользила, как корова по льду. Корова, правда, ни за что не полезла бы на такую верхотуру без хозяйского пинка.

— Что ты искала в журнале? — спросил он снизу, когда я в третий раз промахнулась мимо выступа.

— Не что. Кого. Кто мог знать про застёжку.

— И?

— Если считать только тех, кто знал, что мы пойдём к Орту, — человек пять. Если тех, кто мог догадаться, — поллакадемии.

— Пять — это много?

— Пять — это когда один из них точно врёт, а ты не знаешь кто.

— Приятно слышать, — сказал он. — А я думал, у меня только один враг.

На третьем пролёте он остановился. Впереди зиял провал шириной в мой шаг. Внизу чернота, и из неё тянуло сквозняком, будто изо рта.

Тэйрон протянул ладонь. Раскрытую, тёплую.

Я посмотрела на неё. Потом на него.

— Сама.

— Варн.

— Сама, говорю.

Я прижалась спиной к стене, взяла разбег в полтора шага и прыгнула. Каблук проехал по краю. Левая ладонь, с белым рубцом от троса, вцепилась в выступ кладки. Камень был ледяной, мокрый, шершавый. Подтянулась. Выдохнула.

Колени тряслись, как у новорождённого телёнка.

Тэйрон перешагнул провал, не глядя. Просто шагнул, как через лужу у крыльца.

— Ящерицам хорошо, — буркнула я.

— Ящерицам хорошо, — согласился он без выражения.

Ладонь он убрал в карман. Не обиделся. Или сделал вид.

На шестом пролёте лестница кончилась. Дальше был этаж: круглая комната с выбитыми окнами, и ветер гулял по ней свободно, швыряя в лицо морось. Пол в рытвинах, будто

его грызли. У дальней стены, у оконного проёма, стоял железный подсвечник на три рожка. Один рожок обломан. На других оплыл воск, жёлтый, как старое сало.

Я подошла и присела на корточки. Достала из кармана серые перчатки Фейловой жены. Лаванда, воск, тонкая кожа, мягкая, как мышинное ухо. Натянула, шевельнула пальцами.

— Свет, — сказала я.

— Зачем?

— Чтобы потом было, что записать в протокол. Видела, а не гадала.

— Мне показалось, ты не любишь это слово.

— Какое?

— «Гадала».

— Не твоё дело, что я люблю.

Он достал из кармана огарок, чиркнул кресалом. Язычок лёг набок от ветра. Тэйрон закрыл его ладонью, и огонь просветил сквозь пальцы красным, как сквозь зажатое в кулаке ухо.

Шарф я стянула с шеи. Свернула и положила на левое колено, как всегда перед чтением. Если держать чужую память одной рукой, то второй надо держаться за своё. Отец так учил. Хотя он, конечно, говорил про канат, а не про память.

Закрыла глаза.

Положила пальцы на железо.

Холод. Потом толчок, как в лодке, когда её дёрнет течением.

Темнота сменилась тусклым светом. Я смотрела глазами подсвечника: низко, снизу вверх. Окно рядом, ночь, лунная и слепая. Передо мной стоял Ленар Дейс. Живой. Светловолосый, с аккуратным пробором, с родинкой на подбородке. Он озирался, как человек, который делает что-то, чего делать нельзя, и очень хочет, чтобы это было красиво.

Он держал в руке свёрток. Небольшой, плоский, в промасленной бумаге. Подошёл к стене у окна, пошарил пальцами по кладке. Нашёл щель между камнями. Сунул свёрток внутрь. Придавил сверху обломком, отряхнул ладони о сюртук, безглаголиво, по одной.

Потом поднял подсвечник и переставил, чтобы загородить место. Свет упал на щель. Ленар посмотрел на неё с довольной улыбкой. Так смотрят на пирог, который убрали подальше от соседских детей.

Подсвечник качнулся. Я вынырнула.

Открыла глаза. На губах был вкус железа, как после выбитого зуба. Сглотнула.

— Ну? — спросил Тэйрон.

— Подожди.

Я вытерла подсвечник рукавом. Медленно, дважды. Пальцы ломило до самого локтя, будто их прищемили дверью. Я стянула перчатки, сунула в карман. Шарф снова намотала на шею, узлом, туго.

— Тайник, — сказала я потом. — Вон там. Вторая щель от окна, на уровне колена. Он спрятал свёрток. Плоский, в

промасленной бумаге. И прикрыл подсвечником.

— Зачем прятать здесь, если можно в комнате?

— Комнату обыскивают. А сюда студентам вход закрыт. Лучший сейф в академии, сам себя охраняет.

Щель нашлась сразу. Камень, который Ленар придавил, лежал на месте. Я сдвинула его голыми пальцами и запустила руку в темноту.

Пусто.

Только шершавый край и что-то липкое. Я вытянула ладонь к огарку. На подушечках остался серый налёт, влажный, с запахом. Резким. Сернистым, как от спички, зажжённой не с того конца.

— Пусто, — сказала я. — Но было. Понюхай.

Тэйрон взял мою руку за запястье и поднёс к лицу. Дыхание обожгло кожу. Он повёл носом, поморщился. Шрам над бровью перекосялся.

— Не люблю кислое.

— Это не кислое.

— Знаю. — Он помолчал. — Так пахло в подвале у нашего лекаря, когда он варил от лихорадки. Все дети держались от двери подальше.

— Осадок. Реактив. — Я достала из тетради чистый лист и аккуратно стёрла налёт с пальцев. — Это улика. Протокол изъятия требует...

— Варн.

— Что?

— Ты только что сказала «реактив» тем голосом, каким люди говорят: «я знаю, кто».

— Я не знаю. Я предполагаю.

— В суде разницы не будет.

— В суде будет протокол, — отрезала я. — А в нём «предположил» — слово для трусов, а «установил» — для тех, у кого есть доказательства. У меня пока есть липкие пальцы.

Он коротко хмыкнул. Не улыбнулся, но уголок рта дёрнулся.

Я сложила лист вчетверо. Спрятала в карман.

И тут поняла: что-то не так.

Не в башне. Во мне.

Я стояла и думала про пирог. Почему-то именно про него. Пирог с рыбой, мамин, на воскресенье. Мамины руки в муке по локоть, кухонное полотенце через плечо, жар из печи на барже. Я хотела вспомнить, как он пах. Корка. Лук. Что ещё?

Корка. Лук. Рыба.

Нет. Я знала, что это был пирог. Знала, что мама пекла его по воскресеньям. Знала, что я таскала с противня горячие уголки и обжигала язык.

А вкуса не было. Совсем.

Я попробовала зайти с другого конца. Вспомнить тесто. Вспомнился пирог тётки с Нижней пристани, сладкий, с изюмом, и перца в него она клала столько, что чихал весь причал. Мамин рецепт, подумала я. Нет. Это не мамин. Мамин был другой.

Какой?

Во рту стало пусто и тоскливо. Как после обеда, которого не было. Да и в кармане ни гроша, чтобы хоть купить чужой пирог и убедить себя, что он мамин.

— Пирог, — сказал во мне злой голос. — Подумаешь. Пирог.

— Это мамин пирог, — ответил другой, тише. — Он у тебя был, пока не кончился.

— Ты ела его сто раз. Что тебе, жалко одного?

— Жалко.

Я стояла и грызла ноготь. Ногтя там давно не было, но привычка осталась.

— Варн.

— А?

— Ты стоишь минуту. И молчишь.

— Думаю.

— О чём?

— О пироге.

Он посмотрел на меня тем золотым, змеиным взглядом, от которого хочется отвернуться. Я не отвернулась. Даже подбородок задрала.

— Что? — спросила я.

— Ничего. — Он помолчал. — У тебя лицо было такое... будто ты ключ потеряла.

— После чтения всегда так. Пальцы ломит. Не обращай внимания.

— Не пальцы.

— Пальцы, — сказала я. — Не лезь, Эрсхольм.

Он не полез. Только отвёл глаза к окну и стал смотреть на море, где чёрная вода билась о чёрные камни. Но я заметила: плечи у него остались напряжёнными, будто он нёс что-то тяжёлое и пытался делать вид, что это воздух.

Внизу стукнула дверь.

Мы замерли. Я, как заяц, на которого в поле упал свет фонаря. Тэйрон мгновенно загасил огарок двумя пальцами. Запахло горелым фитилём.

Тьма.

Шаги. Тяжёлые, неровные, и в такт им что-то звякало: склянки в кармане, не иначе. Кто-то поднимался один и бубнил себе под нос. Слов было не разобрать, только сердитое ворчание, как у кастрюли, которую забыли на плите.

— Туда, — шепнул Тэйрон.

Он взял меня за плечо и потянул. В стене рядом с окном была ниша, неглубокая, под бывшую статую. Он втолкнул меня туда и встал следом. Ниша оказалась тесная, как шкаф для ведёр. Я упёрлась лопатками в камень, а грудью в него.

Он стоял вплотную. От камзола пахло дымом и кедром, к этому примешивался холодный запах мокрой ткани. Жар шёл волной, как от кузнечного горна, если встать слишком близко. Я чувствовала его дыхание над макушкой. Ровное. Слишком ровное для человека, у которого сердце, должно быть, колотится не меньше моего.

Хотя нет. Моё колотилось само по себе.

— Не дыши, — шепнул он.

— Сам не дыши.

— Я тихо.

— А я вообще не дышу.

— Слышу.

Я прикусила губу, чтобы не фыркнуть. Шарф сжимала на груди обеими руками. Подбородком упиралась ему в ключицу. Его рука лежала на стене у моей головы, и пальцы были горячие даже сквозь камень, я чувствовала это затылком.

Шаги поднялись на этаж. Остановились.

Свет. Жёлтый, дрожащий, он пополз по полу, цепляясь за рытвины. Луч дошёл до подсвечника. До камня у щели, который я не успела положить на место. Задержался.

— Так, — сказал голос. Хриплый, прокуренный. — Так-так.

Запахло табаком и серой. Тем самым резким, спичечным духом, что и на моих пальцах.

Я узнала голос. Он гремел на церемонии Присяги, в ряду преподавателей, и рывкнул на какого-то студента: «К делу!» Тэйрон узнал тоже. Рука на стене сжалась в кулак.

Шаги пошли к нише. Медленно. Луч фонаря скользнул по краю камня и остановился в полуметре от моего ботинка.

— Ну что, — сказал голос, и ворчание кончилось. — Выходите. Оба. Я слышу, как вы сопите.

Фонарь качнулся. В жёлтом круге, над мятым сюртуком и

прожжённым фартуком, показалось небритое лицо с запавшими глазами и синяками бессонницы.

— Юная гадалка, — сказал магистр Дамиан Росс. — И ваша ящерица. Какая приятная компания для ночной прогулки.

Глава 6. Карты Росса

— Вон, — сказал Росс.

Фонарь качнулся. Тень от него метнулась по стене, как муха от газеты.

— Магистр, мы... — начала я.

— Вон. Оба. По лестнице вниз, на третьем пролёте не прыгать, там ступень гнилая. Печать вы сломали, это на вашей совести. А я здесь не был. Вы меня не видели.

— А склянки? — спросила я. — Они у вас звякают на всю башню.

— Склянки, — повторил он, — звякают на любую башню. Не трогать, взорвётся.

— Что именно?

— Всё. К делу, юная гадалка. Идите спать.

Он стоял и смотрел, как мы выходим из ниши. Не спросил, что мы нашли. Не спросил, зачем мы сюда лезли. Даже не покосился на подсвечник в руке.

Это я отметила сразу. Человек, которого застали врасплох, обычно задаёт вопросы.

Тэйрон прошёл мимо него боком. Не отводя глаз, не опуская руки. Так проходят мимо чужой собаки.

На лестнице он шепнул:

— Он знал про тайник.

— Знал.

— Давим?

— Утром, — сказала я. — Сначала бумаги.

— Бумаги подождут.

— Ага. А он их за ночь сожжёт. К рыбьей матери твоё «давим», Эрсхольм. Сперва нужно знать, на что давить.

Он промолчал. Ступень на третьем пролёте действительно была гнилая. Я перешагнула. Он тоже.

Следующее серое утро встретило меня кашей.

Не моей. Груниной. Повариха сидела на кухне у печи, огромная, красная, с половником, как с булавой, и кормила меня, бормоча себе под нос: милая, лица нет, одни глаза да косичка остались, не бережёшь себя. Каша была овсяная, с топлёным маслом и ломтём чёрного хлеба. Над кружкой поднимался пар, пахло молоком и дымом. Я грела о кружку ладони и ела, почти не жуя, как голодная собака. В кармане ни гроша, а тут хоть что-то в животе.

Конвой Тэйрона сидел у дверей кухни. Двое стражников, зелёных с лица, как после плохой воды. Они клевали носом и злились на весь мир. Про сонную траву оба молчали, потому что признаться в ней значило признаться в том, что их усыпил подозреваемый.

— Росс, — сказала я как бы между делом. — Алхимик. Какой он, Груня?

Груня фыркнула.

— Какой? Злой, как кот, которому на хвост наступили. Да

хороший мужик, в общем. Только дурак.

— Почему дурак?

— Играет. — Она ткнула половником в стену, будто там сидел сам игорный дом. — В «Трёх селёдках», в нижнем городе. Каждый вечер. Жалованье у него в месяц — тридцать крон, а я своими глазами видела расписку, он проиграл сорок за один вечер. Сорок! Мне за такие деньги два года стирать.

— И кому проиграл?

— А поди знай. Вроде своим же, из академии. Молодым. — Она наклонилась ко мне и понизила голос до шёпота, от которого дрожали кружки на полке. — Говорят, Ленару этому. Тому, что с башни.

Я положила ложку.

— Говорят, — повторила я.

— Все говорят. Ты ешь, не отвлекайся.

Я и ела. Но каша стала невкусной. Не потому что плохая, а потому что внутри щёлкнуло, как будто открыли замок.

Сорок крон против моих ста восьмидесяти. Смешно. Только мне никто не носит сорок крон в бумажке.

Комнату Ленара Дейса нам отпер Фейл.

Сам пришёл с ключом, в сюртуке с заплаткой на локте, пахнущий воском и лимонным леденцом. Шаркнул к двери, вставил ключ и сказал:

— Только быстро, голубушка. И не обещайте, что ничего

не тронете. Я знаю, что вы тронете. Только перчатки наденьте.

— Надела, магистр.

— Умница.

Тэйрон стоял за моей спиной и ничего не говорил. Я чувствовала его взгляд через плечо, как печку.

Комната была не такая, как я думала. У нас с Вестой всё в кучу: лампа, шарф, вышивка с рыбками, банка варенья. А тут порядок. У стены — кровать, застеленная так ровно, что на ней можно было резать хлеб. По той же стене — шкаф с рубашками, выглаженными в стопки. Напротив — окно, за ним море и туман. У окна стол. На столе серебряная чернильница, ряд перьев (серебряного не было, оно лежало в сейфе), стопка тетрадей, учебники. Пахло чернилами, мылом и чем-то сладким, как конфеты, которые прячут от матери.

Ни семейной вещи. Ни портрета. Ни письма.

— Человек без дома, — подумала я. Или человек, который всё спрятал.

— Тайник был не один, — сказала я вслух.

— С чего ты взяла?

— С того, что он аккуратный. Аккуратные прячут много.

Тэйрон прошёл по комнате. Не лез в шкафы, нет. Он проводил пальцами по корешкам книг, как по клавишам. Остановился на толстой, в тёмном переплёте. «Основы реактивов, том второй. Д. Росс».

— Учебник, — сказал он. — Автор — тот самый.

— Ну так читали. Это ж алхимия.

— Он аккуратный. Аккуратные не пишут на полях, — Тэйрон встряхнул книгу. — А в этой закладка.

Из страниц выпал сложенный вчетверо листок. Плотный. Желтоватый. На нём было написано косо, с нажимом, пером, которое драло бумагу:

«Я, Дамиан Росс, магистр алхимии, обязуюсь вернуть Ленау Дейсу шестьдесят крон до первого числа. В случае неуплаты — отдать то, что он спросит. Подпись. Число».

Число — двадцать пятое. За неделю до убийства.

Мы молчали.

— «То, что он спросит», — сказала я наконец. — Любопытная формулировка для расписки.

— Нравится?

— Не нравится. Расписка либо про деньги, либо про услугу. А тут и то, и другое.

— Это мотив, Варн.

— Это бумага.

— Бумага, на которой он обещает отдать что угодно человеку, которого через неделю находят мёртвым.

— Ага. И которую хранил убитый, а не убийца. Если бы Росс его убил, он первым делом забрал бы расписку. А она тут. В книге. На полке. Лежит себе, какдохлаямышь, которую принесла послушная кошка, и ждёт, когда её найдут.

Тэйрон сложил листок и сунул себе под камзол.

— Я пойду к нему сам.

— Нет.

— Я его поприжму.

— Нет, Эрсхольм. Мы пойдём вместе, и говорить буду я.

— Ты скажешь ему про ложки.

— Я скажу ему про цепочку. Мы запишем расписку в протокол изъятия, и пусть он объяснит, как она оказалась у Ленера. Если ты схватишь его за грудки, он замолчит, и всё. А если я задам вопрос в правильном порядке — он проговорится.

— Люди проговариваются, когда боятся.

— Люди проговариваются, когда им кажется, что их не слушают.

Он помолчал. На скулах дёрнулась жилка.

— Ладно, — сказал он. — Но если он начнёт хамить, я...

— Он начнёт хамить. Держись.

Лаборатория Росса пахла серой и пережжённым сахаром.

Запах бил с порога, сладкий и вонючий, как в кондитерской, где что-то подгорело, а потом упало на спички. Окон не было, только узкие щели под потолком. Столы — каменные, исцарапанные, в пятнах. На полках стояли склянки: жёлтые, зелёные, одна чёрная, с трещиной. В углу тихо булькал перегонный куб. Сам Росс сидел на табурете и ковырял ножом что-то в тигле.

Он не повернулся.

— Дверь, — сказал он. — Закройте. А то выветрится.

— Что? — спросила я.

— Всё.

Я закрыла. Тэйрон встал у стены, сложив руки на груди.

Росс косил на него один глаз.

— Ящерицу на цепь посадите, если собираетесь тут стоять. Она мне колбы греет.

— Я не греюсь, — сказал Тэйрон ровно.

— А стекло потеет.

Я шагнула вперёд и положила на каменный стол листок.

Не расписку. Бумагу из тетради, ту, с серым налётом. Развернула.

Росс глянул. Тигель в его руке замер.

— Это, — сказала я, — вы мне объясните.

— Что объясню?

— Налёт. Из тайника Ленера Дейса. Пахнет вашими пальцами. — Я подняла взгляд. — И вашим фартуком.

— Мои пальцы пахнут всем. Я алхимик.

— Серой. Именно этой.

— Серой пахнут спички. Спички есть у всех.

— У всех, — согласилась я. — Только у вас на ногте тот же серый след. Вон, под левым.

Он спрятал руку. Слишком быстро.

— К делу, юная гадалка. Вы пришли с обвинением?

— С протоколом. — Я достала вторую бумагу. Расписку.

— Вам знакома эта вещь?

Он взял листок. Прочёл. Лицо не изменилось. Только в уголке рта собралось что-то, будто он прикусил горькое.

— Знакома, — сказал Росс. — Моя. Шестьдесят крон. Я проиграл их Дейсу в «Селёдках» за две недели до его смерти. Проиграл — отдам. Первого числа.

— А отдали?

— Не успел.

— А «отдать то, что он спросит»?

Росс бросил расписку на стол. Подпер кулаком подбородок. Глаза у него были красные, запавшие, в них отражались свечи.

— Это значит, юная гадалка, что шестьдесят крон я должен был принести, а если нет — достать для него одну вещь. Какую — он не сказал.

— И вы не спросили?

— Я человек гордый. Не спрашиваю у мальчишек.

— Мальчишек, которым проигрываете.

Он посмотрел на меня долго. Я не отвела глаз.

— Бьёте по больному, — сказал он тихо. — Вы, оказывается, не такая уж мышка.

— А вы не такой уж злой кот. Вы просто голодный.

В лаборатории стало очень тихо. Куб булькнул один раз.

Тэйрон шевельнулся у стены. Я не оглянулась, но чувствовала, как он напряжён: от камзола шёл жар, как от тарелки с кипятком.

— Ваши ложки, — сказал Росс медленно, — и его когти.

Прекрасная пара. Вы читаете, он рычит. И кто-то из вас сейчас скажет, что я убил парня из-за шестидесяти крон.

— Не скажу.

— Скажет он.

— Я скажу другое, — произнёс Тэйрон. Голос у него был ровный, сухой, как песок. — Вы были вчера ночью на шестом пролёте.

— И что?

— Вы знали, где тайник.

— Я знал, где тайник, потому что видел налёт на камне. Я его, к вашему сведению, и оставил.

— То есть вы его вскрыли.

— Я его нашёл вскрытым. — Росс поднялся. Он был выше Тэйрона на полголовы, но сутулый, как вешалка. — Вскрытым, понимаете? Кто-то уже побывал там до меня. Я пришёл проверить, что осталось.

— И что осталось?

— Ничего. То же, что и вы увидели.

— Значит, вы искали свёрток.

Росс замолчал.

Я поймала это молчание так, как ловят рыбу, когда клюнуло: тихо, не дёргая.

— Магистр, — сказала я мягко. — Вы не хотите говорить, что в нём было?

— Я не знаю, что в нём было.

— А зачем искали?

— Затем, что Дейс сказал мне перед смертью: «Если со мной что случится — загляните к подсвечнику». Больше ничего.

— Когда сказал?

— За день до.

Я не успела спросить дальше. Тэйрон оттолкнулся от стены.

— Значит, вы знали, что он ждёт беды. И промолчали.

— Я ждал, что он блефует.

— Вы ждали, что он мёртв, чтобы расписку никто не предъявил.

— Не смейте, — сказал Росс очень тихо.

Золотые зрачки Тэйрона сузились. По левой скуле, у самого шрама, проступила тонкая темнеющая полоска. Чешуя. Жар в комнате шагнул вперёд, как в кузнице, когда открывают заслонку. Булькнул куб. Звякнули склянки на полке.

— Эрсхольм, — сказала я.

Он не услышал.

— Эрсхольм. Назад.

— Он лжёт.

— Он не лжёт. Он недоговаривает. Это разное.

— Для меня — одно.

— Для протокола — разное. Назад.

Он выдохнул. Через нос, длинно, будто выпускал пар. Чешуя сошла. Он отступил на шаг и уставился в пол, и я видела, как пальцы сжимаются и разжимаются.

Росс наблюдал за ним с острым, жадным интересом, как за редкой реакцией в колбе.

— Так, — сказал он. — Интересно. А вы, юная, его держите. Как собаку на поводке, а?

— Как напарника, — ответила я. — Если вы закончили, магистр, я запишу ваши показания.

— Записывайте.

— «Расписку признал. Тайник нашёл вскрытым. О содержимом свёртка не осведомлён. Был предупреждён Ленаром Дейсом за день до смерти, но не придал значения». Верно?

— Верно.

— Подпишете?

— К рыбьей матери, — буркнул он. — Дайте перо.

Я вздрогнула. Он повторил мою присказку? Или совпало? Я не стала спрашивать.

Он подписал. Росчерк у него был резкий, нервный, как удар кнутом. Я сдула чернила и сунула лист в тетрадь. Чернильная клякса на запястье была свежая, а я даже не заметила, когда посадила.

Мы вышли в коридор. Дверь за нами захлопнулась с глухим стуком, как крышка кастрюли.

— Ты чуть не взорвала всё, — сказал Тэйрон негромко.

— Я? Это ты чуть не сжёг его вместе с кубом.

— Я держался.

— Ага. Скулами.

Он коротко хмыкнул. Не улыбнулся, нет. Только уголок

рта дёрнулся.

— А ты бьёшь больно, — сказал он. — «Голодный». Он вздрогнул.

— Он действительно голодный. Видел тарелку у него на полке? С позавчера, с засохшей коркой.

— Не видел.

— Вот и учись.

— Учусь, — сказал он. И, кажется, не шутил.

Фейл ждал нас в конце коридора, под высоким окном, где на подоконнике сидел сизый голубь и ворчал, как старуха.

— Ну что, коллеги? — спросил он.

Я рассказала. Коротко. Он слушал, склонив голову, шаркая подошвой по плитам. Достал жестяную коробочку, открыл, протянул мне. Лимонные леденцы лежали ровно, как зубы. Я взяла один. Кислота ударила по языку, свела скулы, и на секунду я забыла, о чём говорила.

— Господин Эрсхольм?

— Не люблю кислое, — сказал Тэйрон.

— Жаль. Помогает думать. — Фейл спрятал коробочку и посмотрел на нас по-отечески, с морщинками-лучиками у глаз. — Позвольте один совет, юные друзья. Не спешите. Бумага, расписка, налёт — это всё очень красиво, но человек не равен улике. Росс — человек желчный, но честный. Я двадцать лет его знаю.

— Честный? — спросил Тэйрон. — Он проигрывает жа-

лованье.

— Игрок и убийца — разные профессии. Первый рискует своим, второй чужим. — Он тихо вздохнул. — Не спеши, правда не сбежит. Она, знаете ли, ленивая. Лежит себе и ждёт.

Он похлопал меня по руке — тёплой ладонью через серую замшу — и пошёл дальше. Шарк, шарк. Голубь на подоконнике вспорхнул. Запахло воском.

Тэйрон смотрел ему вслед.

— Что? — спросила я.

— Ничего. Он слишком мягкий.

— Он старый и больные колени.

— Колени, — повторил Тэйрон. Но развивать не стал.

Мы вышли во двор, и тут я увидела Росса.

Он шёл через плац быстро, пригнувшись, засунув руки в карманы фартука. Как человек, который боится, что передумает. Шёл к канцелярии. Мы свернули за колонну и пошли следом, не сговариваясь, на расстоянии, как два кота за мышью.

Он вошёл. Через стекло двери было видно: стол писаря, чернильница, очередь из одной души. Росс достал из-за пазухи сложенный лист и положил перед писарем. Тот взял, прочёл, поднял брови.

Я прижалась к стеклу. Тэйрон встал за мной, и его плечо закрыло половину обзора. Он видит лучше. Он прочёл пер-

ВЫМ.

— Что там? — шепнула я.

— «Рапорт, — сказал он тихо. — О продлении допуска в закрытый склад реактивов».

— И?

— И дата. Он просит продлить допуск задним числом. С ночи на первое.

Я повернулась.

— С ночи убийства?

— Да.

— Он сам признаёт, что был на складе.

— Или что у него был ключ.

Мы переглянулись. У него в зрачках плавали золотые искры, у меня, наверное, ничего, кроме страха и каши.

— Дурак, — сказала я. — Или он хочет, чтобы мы это увидели.

— Что хуже?

— Не знаю.

В канцелярии писарь макнул перо и поставил на листе размашистую печать. Красную, как свежая царапина.

Росс обернулся, будто почувствовал нас, и посмотрел прямо на меня сквозь стекло. Не зло. Устало. И чуть-чуть, почти незаметно, кивнул.

Как человек, который что-то отдал и ждёт, поймут ли.

Глава 7. Лицо матери

Прачка пришла сама. Поставила корзину на стол допроса, будто это вещественное доказательство, и села на лавку, не снимая мокрого платка.

За окном караулки шёл дождь. Мелкий, нудный, он шуршал по крыше, как пшено, которое сыплут на жёсть. Двое конвойных Тэйрона торчали за дверью, зелёные с лица и злые. Сам он стоял у стены, скрестив руки. Молчал.

Пахло от прачки мокрым бельём, щёлоком и луковой шелухой. Тёплый, сырой, домашний запах. Он лез в нос и мешал думать.

— Назовитесь для протокола, — сказала я.

— Дорла Квик. Прачка. С Нижней пристани я, сударыня.

— Возраст?

— Шестьдесят восемь. Ась? Шестьдесят восемь, говорю.

Я записала. Перо царапало бумагу, чернила были жидкие, казённые. Перчатки Фейла лежали у меня на колене. Шарф отца тоже. Пальцы с утра ныли.

— Вы просили, чтобы вас выслушали. Что вы видели в ночь на первое число?

— Ничего не видела, — сказала Дорла и тут же обиженно поджала губы. — То есть как «ничего». Я ж в подвале стираю, дитятко. Окошко у меня вровень со двором. Сорок лет вижу одни ноги.

За стеной Тэйрона что-то хмыкнуло. Я не обернулась.

— Ноги — это уже много. Рассказывайте.

Она рассказала. Долго, с отступлениями про котёл, про дрова по цене в этом году и про дочкиного мужа, который пьёт. Я вылавливала нужное, как косточки из ухи. Записывала сухо, по форме: время, место, наблюдаемые лица. Лиц не было.

Но ноги были.

В ту ночь Дорла стирала простыни для Присяги. Пробило час. Она помнит, потому что колокол на плацу ударил один раз и у неё закипела вода. Во дворе прошли двое. К башне. Не прямо, а в обход, мимо колодца, под стеной.

— Какие ноги? — спросила я.

— Одни в сапогах. Добротные, с железом на каблуке. Идёт ровно, цок, цок, как по своей горнице. Вторые в мягком. В туфлях, что ли. Или в чулках поверх сапог, не разглядела.

— А между ними? Что-нибудь несли?

Она задумалась. Платок съехал, открыв седые жидкие волосы, прилипшие ко лбу.

— Несли, — сказала она. — Или волокли. Длинное такое. Тряпка книзу свисала. Я ещё подумала: ковёр. А потом подумала — какие ковры в час ночи, дура старая.

Я перестала писать. Перо повисло над бумагой, капля чернил набухла на кончике.

— Куда свисала тряпка? Подол? Рукав?

— Не скажу. Темно было.

— Фонарь у них был?

— Был. Платком прикрыт. Свет только вниз, на землю. Как у воров.

Я записала: «Двое. Сапоги с железом, мягкая обувь. Ноша длиной с человека». Подчеркнула «с человека». Тэйрон шагнул ближе и прочёл через моё плечо. Дым и кедр. Я знала этот запах уже четвёртый день и почему-то его не возненавидела.

— Сапоги с железом, — сказал он. — У половины боевого факультета такие.

— У тебя какие?

— С железом.

— Вот и отлично, — буркнула я. — Ещё одна причина, по которой ты не любишь прачек.

— Я не любитель прачек, — сказал он ровно. — Я любитель точности. Были они выше меня или ниже, госпожа Квик?

Дорла посмотрела на него снизу вверх. Долго. Потом на его сапоги. На плечи.

— Вашей милости не скажу. Мне показалось, один был высокий. И в плечах широкий. Но мне после котла всё широким кажется.

Тэйрон кивнул. Лицо у него не изменилось, только пальцы на предплечье сжались, побелев. Я это видела. Увидела бы и без глаз, по запаху: от него шёл ровный жар, как от печной заслонки.

— Ага, — подумала я. — Вот поэтому ты молчишь про два часа. Дурак.

Я отогнала мысль и вернулась к бумаге.

— Госпожа Квик, нужно записать ваши приметы для протокола. Формальность. Вы свидетельница, и если дело дойдёт до трибунала...

— Ой, до трибунала, — всполошилась она. — Мне б только внучку из пристани забрать...

— Не дойдёт, — сказала я. — Для вас не дойдёт. Сидите, как сидели.

Я подняла голову. Начала диктовать себе под нос, как привыкла в Мерне, когда ростовщик ждал бумагу у стола, а время шло по кронам.

— Рост средний. Волосы седые, редкие. Лицо круглое, морщинистое, щёки в красных жилках. Руки — красные, опухшие, пальцы кривые от щёлока. Совсем как у мамы, когда она стирала на барже, сгибала спину над корытом и...

Я осеклась.

— ...а глаза, глаза у неё были...

Тишина.

Я смотрела на прачку. Она смотрела на меня. Глаза у неё были блёклые, водянистые, цвета разбавленного молока, и я это видела, это можно было писать. А дальше шла дыра. Я знала, что у мамы были глаза. Знала, что я их видела тысячу раз. Знала, как человек знает, что в комнате стоит шкаф, но не может вспомнить, что внутри.

Воздух не лез в горло. Он застревал где-то на уровне ключиц, как кость. Ладони стали мокрыми и липкими, перо выскользнуло, упало на лист, и клякса поползла по протоколу, пожирая приметы.

— Дитяtko, — сказала Дорла. — Ты чего?

— Ничего. — Я сглотнула. — Всё в порядке.

— Белая вся. Как простыня после отбеливателя.

— Госпожа Квик, — сказал Тэйрон.

Он не повысил голос. Он вообще его почти не менял. Просто оказался рядом, взял её корзину одной рукой, как перо, и протянул ей ладонь.

— Благодарю. Этого достаточно. Вы очень помогли следствию.

— Так я ж не договорила...

— Договорите на кухне. Там Груня. Она знает, что вы любите. — Он скользнул глазами по её мокрым рукавам. — И чего вам не жалко на горячее.

— Груня? — переспросила Дорла и вдруг просветлела, как печь, когда подкинули полено. — Груня знает, ага. Овсянку с маслом.

— Овсянку, — подтвердил он. — Стражник вас проводит.

Дорла встала, охая, поправила платок, ещё раз глянула на меня — тревожно, по-бабьи, — и пошла. Одна из зелёных рож в дверях подхватила корзину. Дверь закрылась.

Я сидела и смотрела на кляксу. Она растеклась на «руках красных» и «лице круглом». Чернила блестели, чёрные, как

смола.

Тэйрон не двигался. Дождь шуршал по крыше. Где-то на плацу сержант орал на кого-то про строй.

— Какого цвета были у неё глаза? — спросил он.

Один вопрос. Тихо. Без нажима.

— У кого? — Я сделала вид, что не поняла.

— У твоей матери.

— Серые, — сказала я быстро. — Нет. Зелёные. Как у отца. Серо-зелёные.

— У отца серо-зелёные, — согласился он. — Я видел его письмо на столе.

— Ты читал мои письма?

— Читал то, что лежало на подоконнике, пока ты спала. Не про это. — Он помолчал. — Какого цвета были глаза у твоей матери?

Я открыла рот. Закрыла.

Мама пекла пирог по воскресеньям. Я не помнила вкуса, но это знала. Мама пела отцу, когда он возвращался с реки. Нет, это отец пел мне, а я забыла как. Мама была высокая. Или низкая? Мама...

Мама стояла на корме с мокрыми руками. Лица не было. Не расплывчатого, не мутного. Просто гладко, как яйцо.

— Не помню, — сказала я.

Слова вышли хриплые, чужие. Горло пересохло, как будто я наглоталась пыли с лестницы Сломанной башни.

— Давно?

— Не знаю. — Я сжала кулак. Рубец на левой ладони побелел. — Не знаю, понял? Может, давно. Может, с лодок. Я читала чужие вещи с пятнадцати лет, по три в неделю, за пару медяков, и вот тебе результат. Стоит копейки, а берёт лицо. Хорошая сделка, правда? Ил тебе в сапог, а не сделка.

— Ильса.

— Не смей меня жалеть.

— Не жалею.

— Тогда чего ты стоишь?

— Жду, пока ты закончишь.

Я встала. Лавка скрипнула. Нужно было ударить, пока внутри ещё был воздух, потому что дальше начиналась вода. Я знала, куда бить. Я всегда знала, куда.

— У тебя-то мать есть, — сказала я. — В замке, на скале. Ирьяна, да? Тебе ж, поди, ни разу не пришлось гадать, какого цвета у неё глаза. Она, небось, и письма тебе не пишет, потому что младший сын — он запасной, зачем тратить чернила. Или тоже есть? Не ответишь? Конечно, не ответишь. Ты вообще на вопросы не отвечаешь, ящерица.

Он не ответил.

Он стоял прямо, и у него на скуле, под самым глазом, дрогнула одна золотистая чешуйка. Дрогнула и погасла. Как огонёк на сквозняке.

— Всё? — спросил он.

— Всё.

— Тогда слушай.

Он достал из кармана мою тетрадь. Я не заметила, когда он её взял. Чёрные пальцы, на костяшках шрамы от фехтовального зала. Открыл на последней странице, где было пятно, посмотрел и повернул ко мне.

— Ты теряешь, — сказал он. — Это уже понятно. Остальное по пунктам. Первое: все, что можно записать, записывай в тот же день. Не вечером, не завтра. Сегодня. Второе: поешь. Ты со вчерашнего обеда держишься на каше и злости. Третье: пошли.

— Куда?

— На кухню. Груня обещала овсянку той женщине, и я не вру в мелочах. Хватит на двоих.

— Я не голодная.

— Ты не голодная с утра четвертого дня. А руки трясутся. Я посмотрела на свои руки. Они действительно тряслись. Я спрятала их под мышки и почувствовала себя так глупо, что захотелось залезть в корзину, из которой пахло бельём.

— К рыбьей матери твою овсянку, — сказала я.

— Хорошо, — сказал он. — Пойду один.

Он положил тетрадь на стол, открытой, и вышел. Дверь не хлопнула. Закрылась тихо, как у человека, который не хочет будить спящего.

Я осталась. Дождь лил. Чернила на протоколе ещё не высохли.

Овсянку я всё-таки съела. Не потому что он сказал. Пото-

му что Груня поставила миску перед моим носом, огромная, красная, в фартуке, мокрым до пояса, и сказала: «Ешь, а то сама на тебя сяду». Груня села бы. Каша была густая, с жёлтым озером масла посередине, и я ела, глядя в стол и ничего не чувствуя на языке.

Тэйрон сидел через два стола, спиной ко мне. Ел молча. Дорла Квик болтала с Груней про дочкиного мужа. Никто на меня не смотрел. Это было хуже, чем если бы смотрели.

В кармане у меня не было ни гроша, кроме медяка на хлеб, и за эту кашу я не заплатила ни копейки. Повезло. Нищим обычно везёт именно так, чтобы стыд был за чужой счёт.

К вечеру дождь сменился ветром. Он выл в щелях рамы, и я закрыла ставни, хотя дуло не от окна, а откуда-то из стены. Веста не пришла. Её кровать стояла нетронутая, с накинутым пёстрым покрывалом, а на подушке лежала одна вишнёвая ленточка. Новая, хрустящая.

Я не стала её трогать.

Села на свою койку под лампой. Латунная «Щука» с вмятиной на боку горела ровно, пахла керосином и нагретым металлом. Отец подарил её, когда я уезжала. «Чтоб дорога была светлая, Ильска». На стене над изголовьем — мамина вышивка. Рыбки, кривой кораблик, нитки уже выцвели. Я помнила, что вышивка мамина, потому что так было написано в дневнике. Не помнила, как она шила.

Знаете, что хуже всего? Я не заметила, когда это случилось.

Не было дня, чтобы проснуться и ахнуть. Было как в мешке с мукой: вычерпываешь по горсти, и однажды дно просвечивает.

Я отодвинула стенную панель. Она отошла с сухим щелчком, из щели потянуло пылью и клеёнкой. Достала дневник. Обложка из лощи, под клеёнкой кусок карты: «Мерн, устье, глубины». Отец клеил, высунув кончик языка.

Бечёвка. Узел. Ногти у меня обкусаны, развязывать пришлось зубами.

Я открыла чистую страницу. Не начало. Начало было толстое, как корка на старой ране, там лежала половина детства, исписанная торопливым почерком. Одна мысль о том, чтобы пролистать назад и найти там маму, сводила живот. Прочту — а там написано: «глаза у неё были такие-то». И что? Я прочту это, как чужую страницу. Как газету.

— Лучше не знать, чем знать вот так, — подумала я.

— Трусись, — ответил другой голос.

— Трушу.

— Ну и сиди.

Я взяла огрызок карандаша из-за уха. Написала: «Четвёртый день. Прачка Дорла. Руки красные, как у мамы». Остановилась. Покрутила карандаш. Дописала: «Хотела сказать про глаза. Не смогла. Лица нет. Давно».

Слово «давно» вышло кривое. Я зачеркнула, потом напи-

сала снова.

Потом достала тетрадь протоколов, чтобы вырвать нужный лист для отчёта. Она раскрылась на последней странице. Там, где чернильное пятно сожрало приметы прачки, на полях было что-то ещё.

Почерк острый, угловатый, чужой. Буквы с нажимом, будто их не писали, а вбивали.

«Спросить отца про глаза матери. В пятницу. Не забыть».

Ни подписи. Ни «Э.». Ничего. Он ведь не знает, что отец отвечает мне раз в неделю, по пятницам. Или знает. Читал же письмо на подоконнике.

Я сидела и смотрела на эту строчку. Долго. Лампа гудела. Ветер шарил за ставнями.

Потом осторожно, чтобы не порвать, выдрала уголок листа. Сложила вдвое и вложила в дневник, между страницами, где только что писала про прачку. Закрыла. Перевязала бечёвкой. Пальцы дрожали уже меньше.

Утром выяснилось, что я так и не вытерла кляксу с запястья. Ночью, впрочем, это было неважно.

Я погасила лампу. В темноте остался запах керосина, остывающей латуни и почему-то дыма с кедром. Он, конечно, остался только у меня в голове. Он ведь ушёл ещё в обед. Почти.

Глава 8. Чужие руки в архиве

Утро пятого дня началось со звона. На плацу били в колокол, и дребезжало не только в ушах, но и в чашке на подоконнике, где я оставила вчерашний холодный чай.

Выпила. Он пах веником и был как вода из лужи, в которую уронили заварку.

Тэйрон ждал у лестницы. Конвойные за его спиной казались зеленее, чем вчера. Один сглатывал так, будто проглатывал камень.

— Архив, — сказал Тэйрон вместо «доброе утро».

— И тебе не хворать.

— Фейл дал допуск до полудня. Потом бумага превратится в тыкву.

— Бумага не превращается в тыкву.

— Для тебя вообще нет ничего, что превращается, — буркнул он. — Идём.

Я хотела ответить. Не нашлась. Пошла рядом, считая его шаги: железо на каблуках, ровно, чётко. «Ровный шаг. Высокий, широкоплечий», — подумала я про слова прачки и тут же запретила себе думать дальше.

Закрытый архив сидел под северным крылом, как жаба под крыльцом. Лестница вниз, потом коридор, потом ещё лестница. Стены потели. Лампы горели жёлто, вполсилы, и пахло здесь клеем, лавандой и старой пылью, которая заби-

вається в нос і остається там до обіда.

Дверь была железная, с окошком на уровне глаз. Окошко открылось раньше, чем я постучала.

— Допуск, — сказали из него.

Я сунула бумагу. Из окошка высунулась рука с бумажной пылью в складках пальцев, взяла лист и исчезла. Минуту, две. Потом лязгнул засов.

Мейра Тиль оказалась ростом мне по плечо. Сухонькая, как вобла на бечёвке. Седые волосы под чёрным кружевным чепцом, очки-половинки на шнурке, серое платье с нарукавниками. Связка ключей на поясе звенела при каждом вздохе.

— Варн, — прочитала она с бумаги. — Эрсхольм. Следственная пара. Какая прелесть. — Подняла глаза поверх очков. Посмотрела на Тэйрона, потом на его конвойных. — Эти останутся снаружи. Бумага не терпит суеты, а они дышат.

— Они по приказу ректора, — начал один.

— Архив по приказу веков, юноша. Стойте тут.

Стражники встали.

Тэйрон прошёл внутрь первым, пригнув голову под приолокой. Я за ним.

Стеллажи уходили в темноту, как рёбра огромной рыбы. Между ними — узкие проходы, в них свешивались лампы на цепях. Столы стояли у стены, длинные, дубовые, с чернильницами в гнёздах. У каждого места — картонный номерок.

— Правила, — сказала Мейра, не оборачиваясь. — Пер-

вое: без перчаток ничего не трогать. Пальцы у людей кислые, бумага от них желтеет. Второе: ничего не выносить. Третье: не разговаривать громко. Четвёртое: не есть. Я чую крошки за три стеллажа.

— А если я есть захочу? — спросила я.

— Это ваши трудности, голубушка.

Она протянула мне два свёрнутых платка. Я взяла. Тэйрон тоже. В платке оказались тонкие бумажные перчатки, жёсткие, как лепестки засушенных цветов.

— Видящая, — сказала Мейра. Не вопросом. — Я читала вашу анкету. Из Мерна.

— Из Мерна.

— У нас там был филиал. Закрыли. — Она поджала губы.

— Из-за наводнения. Бумага очень пострадала.

Сказано было так, будто пострадали люди.

— Магистр Тиль, — начал Тэйрон, — нас интересует Лена-р Дейс.

— Весь мир интересуется Лена-ра Дейса, юноша. С позавчерашнего дня. — Она остановилась у стола под номером одиннадцать. — Вот его место. Он занимал его двадцать шесть вечеров подряд. С открытия и до закрытия. Приходил, когда я ещё чай не допила.

— Что он брал?

— Формуляры. — Мейра извлекла из ящика тонкую папку. — Всё записано. У меня порядок.

Я открыла папку бумажными пальцами. Листы шуршали.

Колонки: дата, шифр, название, отметка о возврате, подпись читателя. Подпись Ленера была круглая, чистая, с завитком на заглавной. Красивая подпись человека, который любит свою подпись.

— «Протоколы предварительных переговоров, Предел, двадцать лет назад», — прочитала я вслух. — «Список подписантов». «Черновик договора с правками». «Донесения переписчиков». Он брал одно и то же?

— Он брал разное. Но возвращал всегда в один и тот же день. — Мейра положила палец на строку. — Здесь пометка карандашом. Это моя. «Читатель не отрывал взгляда от списка».

— Вы за ним следили? — спросил Тэйрон.

— Я слежу за всеми. Это моя работа и моё удовольствие. Хмыкнул он коротко. Я не поняла, одобрительно или нет.

— Список подписантов можно увидеть? — спросила я.

— Можно. — Мейра чуть замялась. — Но не сегодня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.